

КОМНАТА СТРАХА



ГОСТИ
С ТОГО
СВЕТА

Комната страха

Брэм Стокер

Гости с того света (сборник)

«ЭКСМО»

УДК 821.111-312.9
ББК 84(4Вел)я43

Стокер Б.

Гости с того света (сборник) / Б. Стокер — «Эксмо»,
— (Комната страха)

Сборник мистических, таинственных и жутких историй о призраках, вампирах, ведьмах, оживающих мертвецах, губительных статуях и манекенах, о кошмарных сновидениях и потусторонних пророчествах, о сделках с дьяволом и любви, неподвластной смерти. Перекликаясь друг с другом персонажами, ситуациями и смыслами, готические сюжеты книги открывают читателю за покровом обыденной реальности иррациональный и страшный мир, опрокидывающий самоуверенные претензии на всезнание, свойственные современному человеку.

УДК 821.111-312.9
ББК 84(4Вел)я43

Содержание

Натаниель Готорн	6
Монтегю Родс Джеймс	15
Эдвард Фредерик Бенсон	30
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Гости с того света (сборник)

© Разумовская И. А., Самострелова, Смирницкая С. П., перевод на русский язык.
Наследники, 2017

© Антонов С. А., перевод на русский язык, 2017

© Брилова Л. Ю., перевод на русский язык, 2017

© Сухарев С., перевод на русский язык, 2017

© Будагова Е. Н., перевод на русский язык, 2017

© Роговская Н. Ф., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

Натаниель Готорн (1804–1864) Пророческие портреты¹

– Удивительный художник! – с воодушевлением воскликнул Уолтер Ладлоу. – Он достиг необычайных успехов не только в живописи, но обладает обширными познаниями и во всех других искусствах и науках. Он говорит по-древнееврейски с доктором Мэзером и дает уроки анатомии доктору Бойлстону. Словом, он чувствует себя на равной ноге даже с самыми образованными людьми нашего круга. Более того, это светский человек с изысканными манерами, гражданин мира – да-да, истинный космополит: о любой из стран, о любом уголке земного шара он способен рассказывать так, словно он там родился; это не относится, правда, к нашим лесам, но туда он как раз собирается. Однако и это еще не все, что восхищает меня в нем!

– Да что вы! – отозвалась Элинор, которая с чисто женским любопытством слушала рассказ о таком необыкновенном человеке. – Уж и этого, казалось бы, достаточно!

– Разумеется, – ответил ее возлюбленный, – но гораздо удивительнее его природный дар настраиваться на любой тип характера, так что мужчины, да и женщины, Элинор, разговаривая с этим необыкновенным художником, видят себя в нем как в зеркале. Однако я все еще не сказал о самом главном!

– Ну, если он обладает другими такими же редкостными свойствами, – засмеялась Элинор, – то, боюсь, Бостон для него опасен. Да послушайте, о ком вы мне рассказываете, о живописце или о волшебнике?

– По правде сказать, этот вопрос заслуживает более серьезного внимания, чем вам кажется, – ответил Уолтер. – Говорят, этот художник изображает не только черты лица, но и душу и сердце человека. Он подмечает затаенные страсти и чувства, и холсты его озаряются то солнечным сиянием, то отблесками адского пламени, если он рисует людей с запятнанной совестью. Это страшный дар, – добавил Уолтер, и в его голосе уже не слышалось прежнего восхищения, – я даже побаиваюсь заказывать ему портрет.

– Неужели вы говорите серьезно, Уолтер? – воскликнула Элинор.

– Ради всего святого, дорогая, когда будете позировать ему, не смотрите так, как вы смотрите сейчас на меня, – с улыбкой, но несколько озабоченно заметил ее возлюбленный. – Ну вот, ваш взгляд изменился, а минуту назад вы показались мне смертельно испуганной и в то же время опечаленной. О чем вы подумали?

– Да ни о чем! – поспешила заверить его Элинор. – У вас просто разыгралось воображение. Ну что ж, приезжайте завтра ко мне, и мы поедем к этому удивительному художнику.

Следует, однако, заметить, что, когда молодой человек удалился, на прелестном лице его юной возлюбленной снова возникло то же загадочное выражение. Она казалась встревоженной и грустной, что явно не подобало девушке накануне свадьбы, а ведь Уолтер Ладлоу был избранником ее сердца!

– Взгляд! – прошептала она. – Стоит ли удивляться, что он поразился моему взгляду, если в нем выразились предчувствия, которые временами одолевают меня. Я по собственному опыту знаю, каким страшным может быть взгляд. Однако все это плод воображения. В ту минуту я ни о чем таком не думала и вообще давно не вспоминала об этом. Просто мне все это приснилось.

¹ Этот рассказ навеян анекдотом о Стюарте, поведанным в «Истории декоративных искусств» Данлопа – книге в высшей степени увлекательной для обычного читателя и, смею думать, весьма интересной для художника.

И она принялась вышивать воротник, в котором собиралась позировать для своего портрета.

Художник, о котором они говорили, не принадлежал к числу американских живописцев, тех, что в более поздние времена обратились к краскам, заимствованным у индейцев, и стали изготовлять кисти из меха диких зверей. Возможно, если бы он был властен начать жизнь сызнова и распоряжаться своей судьбой, то решил бы примкнуть к этой школе, не имеющей главы, в надежде стать хотя бы оригинальным, ибо тут не требовалось ни копировать старые образцы, ни подчиняться каким-либо правилам. Но он родился и получил образование в Европе. Про него рассказывали, что, постигая красоту и величие замыслов, изучая совершенство мазка знаменитых художников, он осмотрел все музеи, все картинные галереи, стенную роспись всех церквей, и в конце концов ничто уже не могло дать пищу его пытливому уму. Искусству нечего было добавить к его познаниям, и он обратился к Природе. Поэтому он отправился в край, где до него еще не ступала нога его собратьев по профессии, и наслаждался созерцанием зрелищ, возвышенных и живописных, но ни разу не запечатленных на полотне. Америка была слишком бедна, чтобы соблазнить чем-либо иным этого видного художника, хотя многие представители местной знати, слышав о его приезде, выражали желание с помощью его искусства увековечить свои черты для потомства. Когда к нему обращались с подобной просьбой, он устремлял на посетителя пристальный взгляд, который, казалось, пронизывал человека насквозь. Если он видел перед собой приятное, но ничем не примечательное лицо, то пусть даже клиент этот был одет в расшитый золотом кафтан, который украсил бы картину, и располагал золотыми гинееми, чтобы заплатить за портрет, – художник вежливо отклонял заказ и связанное с ним вознаграждение; но если ему попадалось лицо, говорящее о своеобразии душевного склада, о смелости ума или о богатстве жизненного опыта, если на улице он видел нищего с седой бородой и со лбом, изборозженным морщинами, или если ему удавалось поймать взгляд и улыбку ребенка, он вкладывал в их портреты все мастерство, в котором отказывал богачам.

Искусство живописи было редкостью в колониях, и потому художник возбуждал всеобщее любопытство. Хотя лишь немногие могли – или, скорее даже, никто не мог – оценить техническое совершенство его работ, все же в некоторых отношениях мнение толпы интересовало его не меньше, чем указания тонких знатоков. Он следил за впечатлением, которое его картины производили на неискушенных зрителей, и старался извлечь пользу из их замечаний, между тем как говорившим, пожалуй, скорее пришло бы в голову поучать саму Природу, чем художника, который, казалось, с ней соперничал. Следует, однако, признать, что их восхищение несколько умерялось предрассудками, свойственными этой стране и эпохе. Одни считали, что столь правдивое изображение созданий Божьих нарушает заповеди Моисея и является самонадеянным подражанием Творцу. Другие, испытывая трепет перед искусством, способным вызывать к жизни призраки и запечатлевать для живых черты умерших, были склонны принимать художника за колдуна, а быть может, и за Черного человека, известного со времен охоты за ведьмами, творящего свои чары в новом обличье. Толпа почти всерьез принимала эти нелепые слухи. Даже в светских кругах к художнику относились с некоторым страхом, что было отчасти отзвуком суеверных подозрений черни, но в основном вызывалось его обширными познаниями и многообразными талантами, помогавшими ему в его искусстве.

Собираясь соединиться узами брака, Уолтер Ладлоу и Элинора хотели поскорее обзавестись своими портретами, которым, как они, без сомнения, надеялись, предстояло положить начало целой семейной галерее. Поэтому на другой день после описанного выше разговора они отправились к художнику. Слуга провел их в комнату, в которой хозяина не оказалось, но зато они увидели целое скопление лиц и с трудом удержались, чтобы почти не раскланяться с ними. Они понимали, что это картины, но не могли поверить, что

при таком разительном сходстве с оригиналами портреты совсем лишены жизни и разума. Кое-кто из людей, изображенных на картинах, принадлежал к числу их знакомых, другие были известны им как выдающиеся деятели того времени. Среди них находился губернатор Бернет, и казалось, будто он только что усмотрел крамолу в действиях палаты представителей и обдумывает, как бы резче ее осудить. Рядом с правителем висел портрет мистера Кука, человека, возглавлявшего оппозицию. В нем чувствовались воля и несколько пуританский склад, как и подобает народному вождю. Пожилая супруга сэра Уильяма Фиппса, в воротнике с рюшем и фижмах, взирала на них со стены – высокомерная старуха, вид которой наводил на мысль, что она не чужда колдовству. Джон Уинслоу, тогда еще очень молодой человек, выглядел на портрете исполненным той боевой решимости, которая много лет спустя помогла ему стать выдающимся полководцем. Своих друзей Уолтер и Элиноর узнавали с первого взгляда. На большинстве портретов все свойства ума и сердца их оригиналов были выражены в лицах и сконцентрированы во взглядах с такой силой, что, если говорить парадоксами, живые люди меньше походили на самих себя, чем написанные с них портреты.

Среди этих современных знаменитостей висели изображения двух бородатых святых, едва различимых на потемневших холстах. Была тут и бледная, но не поблекшая Мадонна, верно, некогда почитавшаяся в Риме, которая теперь с такой добротой и святостью смотрела на влюбленных, что им, словно католикам, захотелось помолиться.

– Как странно подумать, – заметил Уолтер Ладлоу, – что это прекрасное лицо остается прекрасным более двухсот лет. Вот если бы земная красота могла сохраняться так же долго! Вы не завидуете ей, Элинор?

– Будь на земле рай, может, и позавидовала бы, – ответила она, – но там, где все обречено на увядание, как мучительно было бы сознавать, что ты одна не можешь постареть.

– Этот потемневший святой Петр хмурится свирепо и грозно, хоть он и святой, – продолжал Уолтер, – мне не по себе от его взгляда, а вот Мадонна смотрит на нас ласково.

– Да, но, по-моему, очень печально, – отозвалась Элинор.

Под этими тремя старинными картинами стоял мольберт с только что начатым холстом. И, по мере того как они всматривались в едва намеченные черты, изображение, проступая как бы сквозь дымку, приобретало живость и ясность, и они узнали своего священника, преподобного доктора Колмана.

– Добрый старик! – воскликнула Элинор. – Он смотрит на меня так, будто собирается дать отеческое напутствие.

– А мне представляется, – подхватил Уолтер, – будто он вот-вот укоризненно покачает головой, словно подозревает меня в каком-то проступке. Впрочем, так же смотрит и оригинал. Знаете, пока он нас не поженил, я не смогу спокойно выдерживать его взгляд.

В этот момент они услышали чьи-то шаги и, оглянувшись, увидели художника, который вошел несколько минут назад и прислушивался к их разговору. Это был человек средних лет, с лицом, достойным его собственной кисти. Потому ли, что душой он всегда жил среди картин, или благодаря живописной небрежности своего яркого костюма, художник и сам походил на портрет. Это родство между ним и его работами бросилось в глаза посетителям, и им почудилось, будто одна из картин сошла с полотна, чтобы их приветствовать.

Уолтер Ладлоу, уже немного знакомый с художником, изложил ему цель их визита. Пока он говорил, косой луч солнца так удачно осветил влюбленных, что они казались живыми символами юности и красоты, обласканными счастливой судьбой. Было очевидно, что они произвели впечатление на художника.

– Мой мольберт будет занят еще несколько дней, к тому же я не могу задерживаться в Бостоне, – произнес задумчиво художник, затем, внимательно поглядев на них, добавил: – Но вашу просьбу я все же удовлетворю, хотя для этого мне придется отказать верховному

судье и мадам Оливер. Я не имею права терять такую возможность ради того, чтобы запечатлеть несколько метров черного сукна и парчи.

Он выразил желание написать одну большую картину, изобразив их вместе за каким-нибудь подходящим занятием. Влюбленные рады были бы принять это предложение, но им пришлось отклонить его, потому что комната, которую они собирались украсить своими портретами, не могла вместить полотно таких размеров. Наконец договорились о двух поясных портретах. Возвращаясь домой, Уолтер с улыбкой спросил Элиноর, знает ли она, какое влияние на их судьбу может отныне приобрести художник.

– Старухи в Бостоне уверяют, – заметил он, – что, взявшись рисовать чье-нибудь лицо или фигуру, он может изобразить этого человека в любой ситуации, и картина окажется пророческой. Вы верите в это?

– Не совсем, – улыбнулась Элинор. – В нем чувствуется какая-то доброта, так что, если даже он и обладает этим чудесным даром, я уверена, он не употребит его во зло.

Художник решил писать оба портрета одновременно и, с характерной для него манерой загадочно выражаться, объяснил, что их лица освещают друг друга. Поэтому он накладывал мазки то на портрет Уолтера, то на портрет Элинор, и черты их стали вырисовываться так живо, словно сила искусства могла заставить их отделиться от холста. Взорам влюбленных открывались их собственные двойники, сотворенные из цветных пятен и глубоких теней. Но хотя сходство и обещало быть безупречным, молодых людей не совсем удовлетворяло выражение лиц, ибо оно казалось менее определенным, чем на других картинах художника. Однако сам художник не сомневался в успехе и, глубоко заинтересовавшись влюбленными, в свободное время делал с них карандашные наброски, хотя они и не подозревали об этом. Пока они позировали ему, он старался вовлечь их в разговор и вызвать на их лицах то характерное, хотя и постоянно меняющееся выражение, которое он ставил себе целью уловить и запечатлеть. Наконец он объявил, что к следующему разу портреты будут готовы и он сможет их отдать.

– Только бы моя кисть осталась послушной моему замыслу, когда я буду наносить последние мазки, – сказал он, – тогда эти портреты окажутся лучшими из того, что я создал. Надо признаться, художнику нечасто выпадает счастье иметь такую натуру.

При этих словах он обратил на них пристальный взгляд и не сводил его до тех пор, пока они не спустились с лестницы.

Ничто не затрагивает так человеческое тщеславие, как возможность запечатлеть себя на портрете. Чем это объяснить? В зеркале, в блестящих металлических украшениях камина, в недвижной глади воды, в любых отражающих поверхностях мы постоянно видим собственные портреты, точнее говоря – призраки самих себя, и, взглянув на них, тотчас их забываем. Но забываем только потому, что они исчезают. Возможность увековечить себя, приобрести бессмертие на земле – вот что вселяет в нас загадочный интерес к собственному портрету. Это чувство не было чуждо и Уолтеру с Элинор, и потому точно в назначенный час они поспешили к художнику, горя желанием увидеть свои изображения, предназначенные для взора их потомков. Солнце ворвалось вместе с ними в мастерскую, но, закрыв дверь, они оказались в полумраке.

Взгляд их тотчас обратился к портретам, прислоненным к стене в дальнем конце комнаты. В неверном свете они различили сначала лишь хорошо знакомые им очертания и характерные позы, и оба вскрикнули от восторга.

– Посмотрите на нас! – восторженно воскликнул Уолтер. – Мы навеки освещены солнечными лучами! Никаким темным силам не удастся омрачить наши лица!

– Да, – ответила Элинор более сдержанно, – не коснутся их и печальные перемены.

С этими словами они направились к портретам, но все еще не успели их как следует разглядеть. Художник поздоровался с ними и склонился над столом, заканчивая набросок и

предоставив посетителям самим судить о его работе. Время от времени его карандаш застыл в воздухе, и он из-под насупленных бровей поглядывал на лица влюбленных, обращенные к нему в профиль. А они уже несколько минут, забыв обо всем, стояли перед портретами, и каждый безмолвно, но с необыкновенным вниманием изучал портрет другого. Наконец Уолтер шагнул ближе, снова отступил, чтобы разглядеть портрет Элинон с разных расстояний и при разном освещении, а потом заговорил.

– С портретом что-то произошло, – с недоумением, будто размышляя вслух, произнес он. – Да, чем больше я смотрю, тем больше убеждаюсь в перемене. Бесспорно, это та же самая картина, что и вчера, то же платье, те же черты, все то же – и, однако, что-то изменилось.

– Значит ли это, что портрет меньше похож на оригинал? – с нескрываемым интересом спросил художник, подойдя к нему.

– Нет, это точная копия лица Элинон, – ответил Уолтер, – и на первый взгляд кажется, что и выражение схвачено правильно, но я готов утверждать, что, пока я смотрел на портрет, в лице произошла какая-то перемена. Глаза обращены на меня со странной печалью и тревогой. Я бы сказал даже, что в них застыли скорбь и ужас. Разве это похоже на Элинон?

– А вы сравните нарисованное лицо с живым, – предложил художник.

Уолтер взглянул на свою возлюбленную и вздрогнул. Элинон неподвижно стояла перед картиной, словно зачарованная созерцанием портрета Уолтера, и на лице ее было то самое выражение, о котором он только что говорил. Если бы она часами репетировала перед зеркалом, ей и тогда не удалось бы передать это выражение лучше. Да если бы даже сам портрет стал зеркалом, он не смог бы более верно сказать печальную правду о выражении, возникшем в эту минуту на ее лице. Казалось, она не слышала слов, которыми обменялись художник и ее жених.

– Элинон! – в изумлении вскричал Уолтер. – Что с вами?

Но она не слышала его и все не сводила глаз с портрета, пока Уолтер не схватил ее за руку. Только тут она заметила его; вздрогнув, она перевела взгляд с картины на оригинал.

– Вам не кажется, что ваш портрет изменился? – спросила она.

– Мой? Нет, нисколько! – ответил Уолтер, присматриваясь к картине. – Хотя постойте, дайте взглянуть. Да-да, что-то изменилось, и пожалуй, к лучшему, но сходство осталось прежним. Выражение стало более оживленным, чем вчера, словно блеск глаз отражает какую-то яркую мысль, которая вот-вот сорвется с губ. Да, теперь, когда я уловил взгляд, он кажется мне весьма решительным.

Пока он рассматривал портрет, Элинон обернулась к художнику. Она глядела на него печально и с тревогой – и читала в его глазах сочувствие и сострадание, о причинах которых могла только смутно догадываться.

– Это выражение... – прошептала она с трепетом. – Откуда оно?

– Сударыня, на этих портретах я изобразил то, что вижу, – грустно молвил художник и, взяв ее за руку, отвел в сторону. – Взгляд художника, истинного художника, должен проникать внутрь человека. В том-то и заключается его дар, предмет его величайшей гордости, но зачастую и весьма для него тягостный, что он умеет заглянуть в тайники души и, повинаясь какой-то необъяснимой силе, перенести на холст их мрак или сияние, запечатлевая в мгновенном выражении мысли и чувства долгих лет. Если бы я мог убедить себя, что на этот раз заблуждаюсь!

Они подошли к столу, где в беспорядке лежали наброски гипсовых голов, рук, не менее выразительных, чем некоторые лица; зарисовки часовен, увитых плющом; хижин, крытых соломой; старых, сраженных молнией деревьев; одеяний, свойственных далеким восточным странам или древним эпохам, и прочих плодов причудливой фантазии художника. Переби-

рая их с кажущейся небрежностью, он поднял один карандашный набросок, на котором были изображены две фигуры.

– Если я ошибаюсь, – продолжал он, – если вы не видите, что на вашем портрете отразилась ваша душа, если у вас нет тайной причины опасаться, что и второй портрет говорит правду, то еще не поздно все изменить. Я мог бы переделать и этот рисунок. Но разве это повлияет на события?

И он показал ей набросок. Дрожь пробежала по телу Элинора, она едва не вскрикнула, но сдержалась, привыкнув владеть собой, как все, кому часто приходится таить в душе подозрения и страх. Оглянувшись, она обнаружила, что Уолтер подошел к ним и мог увидеть рисунок, но не поняла, заметил ли он его.

– Мы не хотим ничего менять в этих портретах, – сказала она поспешно. – Если мой портрет выглядит печальным, то тем веселее буду казаться рядом с ним я.

– Ну что ж, – поклонился художник, – пусть ваши горести окажутся воображаемыми и печалиться о них будет лишь этот портрет! А радости пусть будут столь яркими и глубокими, что запечатлеются на этом прелестном лице наперекор моему искусству.

После свадьбы Уолтера и Элинора портреты стали лучшим украшением их дома. Разделенные только узкой панелью, они висели рядом и, казалось, не сводили друг с друга глаз, хотя в то же время неизменно провожали взглядом каждого, кто смотрел на них. Люди, много поездившие на своем веку и утверждавшие, что знают толк в таких вещах, относили их к числу наиболее совершенных образцов портретного искусства, тогда как неискушенные зрители сличали их черту за чертой с оригиналами и приходили в восторг от удивительного сходства. Но самое сильное впечатление портреты производили не на знатоков и не на обычных зрителей, а на людей, по самой природе своей наделенных душевной чуткостью. Эти последние могли сначала скользнуть по ним беглым взглядом, но затем в них пробуждался интерес и они снова и снова возвращались к портретам и изучали изображения, словно листы загадочной книги. Прежде всего привлекал их внимание портрет Уолтера. В отсутствие супругов они обсуждали иногда, какое выражение художник намеревался придать его лицу, и все соглашались на том, что оно исполнено глубокого значения, хотя толковали его различно. Портрет Элинора вызвал меньше споров. Правда, они каждый по-своему объясняли природу печали, омрачавшей лицо на портрете, и по-разному оценивали ее глубину, но ни у кого не возникало сомнений, что это именно печаль и что она совершенно чужда жизнерадостному нраву их хозяйки. А один человек, наделенный воображением, после пристального изучения картин объявил, что оба портрета следует считать частью одного замысла и что скорбное выражение Элинора чем-то связано с более взволнованным или, как он выразился, с искаженным бурной страстью лицом Уолтера. И хотя сам он дотоле никогда не занимался рисованием, он даже принялся за набросок, стараясь объединить обе фигуры такой ситуацией, которая соответствовала бы выражению их лиц.

Вскоре друзья Элинора стали поговаривать о том, что день ото дня лицо ее начинает завлакиваться какой-то задумчивостью и угрожает сделаться слишком похожим на ее печальный портрет. В лице же Уолтера не только не было заметно того оживления, которым художник наделил его на полотне, а напротив, он становился все более сдержанным и подавленным, и если в душе его и бушевали страсти, внешне он ничем не выдавал этого. Через некоторое время Элинора заявила, что портреты могут потускнеть от пыли или выцвести от солнца, и закрыла их роскошным занавесом из пурпурного шелка, расшитым цветами и отделанным тяжелой золотой бахромой. Этого оказалось достаточно. Друзья ее поняли, что тяжелый занавес уже нельзя откидывать от портретов, а о самих портретах больше не следует упоминать в присутствии хозяйки дома.

Время шло, и вот художник снова вернулся в их город. Он побывал на далеком севере Америки, и ему удалось увидеть серебристый каскад Хрустальных гор и обозреть с самой

высокой вершины Новой Англии плывущие вниз облака и бескрайние леса. Но он не дерзнул осквернить этот пейзаж, изобразив его средствами своего искусства. Лежа в каноэ, он уплывал на самую середину озера Георга, и в душе его, словно в зеркале, отражались красота и величие окружающей природы, которая постепенно вытеснила из его сердца воспоминания о картинах Ватикана. Он отправился с индейцами-охотниками к Ниагаре и там в отчаянии швырнул свою беспомощную кисть в пропасть, поняв, что нарисовать этот чудесный водопад так же невозможно, как нельзя изобразить на бумаге рев низвергающейся воды. Правда, его редко охватывало желание передавать картины живой природы, потому что она интересовала его скорее как фон для изображения фигур и лиц, отмеченных мыслью, страстями или страданием. А такого рода набросков он скопил за время своих скитаний великое множество. Гордое достоинство индейских вождей, смуглая красота индианок, мирная жизнь вигвамов, тайные вылазки, битва под угрюмыми соснами, гарнизон пограничной крепости, диковинная фигура старика-француза, воспитанного при дворе, обветренного и поседевшего в этих суровых краях, – вот сюжеты нарисованных им портретов и картин. Упоевание опасностью, взрывы необузданных страстей, борьба неистовых сил, любовь, ненависть, скорбь, иступление – словом, весь потрепанный арсенал чувств нашей древней земли представлялся ему в новом свете. В его папках хранились иллюстрации к книге его памяти, и силою своего гения он должен был преобразить их в высокие создания искусства и вдохнуть в них бессмертие. Он ощущал, что та глубокая мудрость, которую он всегда стремился постигнуть в живописи, теперь найдена.

Но всюду – среди ласковой и угрюмой природы, в грозных чашах леса и в убаюкивающем покое рощ – за ним неотступно следовали два образа, два призрачных спутника. Как все люди, захваченные одним всепоглощающим стремлением, художник стоял в стороне от обычных людей. Для него не существовало иных надежд, иных радостей, кроме тех, что были в конечном счете связаны с его искусством. И хотя он отличался мягким обхождением и искренностью в намерениях и поступках, добрые чувства были чужды его душе; сердце его было холодно, и ни одному живому существу не позволялось приблизиться, чтобы согреть его. Однако эти два образа сильнее, чем кто-либо другой, вызывали в нем тот необъяснимый интерес, который всегда привязывал его к увековеченным его кистью созданиям. Он с такой проницательностью заглянул в их души и с таким неподражаемым мастерством отобразил плоды своих наблюдений на портретах, что ему уже не много оставалось для достижения того уровня – его собственного сурового идеала, – до которого не поднимался еще ни один гений. Ему удалось, во всяком случае, так он полагал, разглядеть во тьме будущего страшную тайну и несколькими неясными намеками воспроизвести ее на портретах. Столько душевных сил, столько воображения и ума затратил он на проникновение в характеры Уолтера и Элинора, что чуть ли не считал их самих своими творениями, подобно тем тысячам образов, которыми он населил царство живописи. И потому призраки Уолтера и Элинора неслышно проносились перед ним в сумраке лесов, парили в облаках брызг над водопадами, встречали его взор на зеркальной глади озер и не таяли даже под жаркими лучами полуденного солнца. Они неотступно стояли в его воображении, но не как навязчивые образы живых, не как бледные духи умерших, – нет, они всегда являлись ему такими, какими он изобразил их на портретах, с тем неизменным выражением, которое его магический дар вызвал на поверхность из скрытых тайников их души. Он не мог уехать за океан, не повидав еще раз двойников этих призрачных портретов, – и он отправился к ним.

«О волшебное искусство! – в увлечении размышлял он по дороге. – Ты подобно самому Творцу. Бесчисленное множество неясных образов возникает из небытия по одному твоему знаку. Мертвые оживают вновь; ты возвращаешь их в прежнее окружение и наделяешь их тусклые тени блеском новой жизни, даруя им бессмертие на земле. Ты навсегда запечатлеваешь промелькнувшие исторические события. Благодаря тебе прошлое перестает быть про-

шлым, ибо стоит тебе дотронуться до него – и все великое навсегда остается в настоящем, и замечательные личности живут в веках, изображенные в момент свершения тех самых деяний, которые их прославили. О всемогущее искусство! Перенося едва различимые тени прошлого в краткий, залитый солнцем миг, называемый настоящим, можешь ли ты вызвать сюда же погруженное во мрак будущее и дать им встретиться? Разве я не достиг этого? Разве я не пророк твой?»

Охваченный этими гордыми и в то же время печальными мыслями, художник начал разговаривать вслух, идя по шумным улицам среди людей, которые не догадывались о терзавших его думах, а приведись им подслушать его размышления, не поняли бы их, да и вряд ли захотели бы понять. Плохо, когда человек вынашивает в одиночестве тщеславную мечту. Если вокруг него нет никого, по кому он мог бы равняться, его стремления, надежды и желания грозят сделаться необузданными, а сам он может уподобиться безумцу или даже стать им. Читая в чужих душах с прозорливостью почти сверхъестественной, художник не видел смиятия в своей собственной душе.

– Вот, верно, их дом, – проговорил он и, прежде чем постучать, внимательно оглядел фасад. – Боже, помоги мне! Эта картина! Неужели она всегда будет стоять перед моими глазами? Куда бы я ни смотрел, на дверь ли, на окна, – в рамке их я постоянно вижу эту картину, смело написанную, сверкающую сочными красками. Лица – как на портретах, а позы и жесты – с наброска!

Он постучал.

– Скажите, портреты здесь? – спросил он слугу, а затем, опомнившись, поправился: – Господин и госпожа дома?

– Да, сэр, – ответил слуга и, обратив внимание на живописную внешность художника, которая бросалась в глаза, добавил: – И портреты тут.

Художника провели в гостиную, дверь из которой вела в одну из внутренних комнат такой же величины. Поскольку в первой комнате никого не оказалось, художник прошел к двери, и здесь взорам его предстали и портреты, и сами их живые прототипы, так давно занимавшие его мысли. Невольно он замер у порога.

Его появления не заметили. Супруги стояли перед портретами, с которых Уолтер только что отдернул пышный шелковый занавес. Одной рукой он еще держал золотой шнур, а другой сжимал руку жены. Давно скрытые от глаз, портреты с прежней силой приковывали к себе взор, поражая совершенством исполнения, и казалось, не дневной свет оживлял их, а сами они наполняли комнату каким-то горестным сиянием. Портрет Элинон выглядел почти как сбывшееся пророчество. Задумчивость, перешедшая потом в легкую печаль, с годами сменилась на ее лице выражением сдержанной муки. Случись Элинон испытать страх, ее лицо стало бы точным повторением ее портрета. Черты Уолтера приняли хмурое и угрюмое выражение: лишь изредка они оживлялись, чтобы через минуту стать еще более мрачными. Он переводил глаза с Элинон на ее портрет, затем взглянул на свой и погрузился в его созерцание.

Художнику показалось, что он слышит у себя за спиной тяжелую поступь судьбы, приближающейся к своим жертвам. Странная мысль зашевелилась у него в мозгу. Не в нем ли самом воплотилась судьба, не его ли избрала она орудием в том несчастье, которое он когда-то предсказал и которое теперь готово было свершиться?

Однако Уолтер все еще молча рассматривал свой портрет, как бы ведя немой разговор с собственной душой, запечатленной на холсте, и постепенно отдаваясь роковым чарам, которыми художник наделил картину. Но вот глаза его загорелись, а лицо Элинон, наблюдавшей, как ярость овладевает им, исказилось от ужаса, и, когда, оторвав взгляд от картины, он обернулся к жене, сходство их с портретами стало совершенным.

– Пусть исполнится воля рока! – неистово завопил Уолтер. – Умри!

Он выхватил кинжал, бросился к отпрянувшей Элинон и занес его над ней. Их жесты, выражение и вся сцена в точности воспроизводили набросок художника. Картина во всей ее трагической яркости была закончена.

– Остановись, безумец! – воскликнул художник.

Кинувшись вперед, он встал между несчастными, ощущая, что наделен такой же властью распоряжаться их судьбами, как изменять композицию своих полотен. Он напоминал волшебника, повелевающего духами, которых сам вызвал.

– Что это? – промолвил Уолтер, и обуревавшая его ярость уступила место мрачному унынию. – Неужели судьба не даст свершиться своему же велению?

– Несчастливая женщина! – обернулся художник к Элинон. – Разве я не предупреждал вас?

– Предупреждали, – ровным голосом отозвалась Элинон, оправившись от испуга, и на лице ее появилось привычное выражение тихой грусти, – но ведь я... я любила его!

Разве рассказ этот не заключает в себе глубокой морали? Если бы можно было предугадать и показать нам последствия всех или хотя бы одного из наших поступков, некоторые из нас назвали бы это судьбой и устремились ей навстречу, другие дали бы себя увлечь потоком своих страстей, – но все равно никого пророческие портреты не заставили бы свернуть с избранного пути.

1837

Монтегю Родс Джеймс (1862–1936) Подброшенные руны

15 апреля 190... года

Досточтимый сэр!

Совет... Ассоциации уполномочил меня возвратить Вам рукопись доклада на тему «Истина алхимии», который Вы любезно предложили зачитать на нашем предстоящем собрании, и проинформировать Вас, что он не считает возможным включить этот доклад в программу.

Искренне Ваши,

.....

секретарь Ассоциации.

18 апреля

Досточтимый сэр!

С сожалением вынужден сообщить, что, будучи загружен делами, не имею возможности встретиться с Вами для обсуждения Вашего доклада. Равным образом наш устав не предусматривает процедуры обсуждения Вами этого вопроса с комитетом нашего Совета, которое Вы предложили провести. Позвольте заверить Вас в том, что представленная Вами рукопись была рассмотрена предельно внимательно и отклонена лишь после консультации с самым авторитетным в этой области специалистом. Едва ли есть смысл добавлять, что решение Совета никоим образом не обусловлено какими-либо личными мотивами.

Примите уверения... и прочее.

20 апреля

Секретарь Ассоциации... со всем почтением уведомляет мистера Карсвелла, что не уполномочен сообщать ему сведения о лице или лицах, которым могла быть передана на рассмотрение рукопись его доклада, а также желает известить о том, что не обязуется далее поддерживать переписку на эту тему.

– И кто такой этот мистер Карсвелл? – любопытствовала у секретаря его жена, которая незадолго до того зашла к нему кабинет и – возможно, несколько бесцеремонно – пробежала взглядом последнее из вышеприведенных писем, только что принесенное машинисткой.

– Ну, в данный момент, моя дорогая, мистер Карсвелл – это весьма рассерженный человек. Но кроме этого я мало о нем знаю – разве только то, что он довольно состоятелен, живет в Лаффордском аббатстве в Уорикшире, судя по всему, занимается алхимией и жаждет выговориться на эту тему перед членами нашей Ассоциации. Вот, пожалуй, и все – если не считать того, что в ближайшие неделю-другую мне бы не хотелось с ним встречаться. Ну а теперь, если ты готова, мы можем идти.

– Чем же ты так его рассердил?

– Обычное дело, дорогая, самое обычное: он прислал рукопись доклада, который хотел зачитать на ближайшем заседании, и мы передали ее на рассмотрение Эдварду Даннингу – едва ли не единственному в Англии человеку, разбирающемуся в подобных вещах. Даннинг сказал, что доклад совершенно безнадежен, и мы его отклонили. С тех пор Карсвелл забра-

сывает меня письмами. В последнем он потребовал назвать ему имя того, кто рецензировал его вздор; мой ответ ты видела. Но, ради бога, не говори никому об этом ни слова.

– Я и не собираюсь. Разве я когда-нибудь болтала о твоих делах? Однако я все же надеюсь, он никогда не узнает, что это был бедный мистер Даннинг.

– «Бедный»? Не понимаю, почему ты так его называешь; на самом деле он весьма счастливый человек, этот Даннинг. У него множество увлечений, уютный дом и уйма времени, которым он волен располагать, как пожелает.

– Я лишь имела в виду, что было бы весьма огорчительно, если бы тот человек узнал о нем и стал бы ему досаждать.

– О да! Конечно. Рискну предположить, что тогда он и вправду стал бы «бедным мистером Даннингом».

Супруги были приглашены на ланч к друзьям из Уорикшира, и жена секретаря решила во что бы то ни стало осторожно расспросить их о мистере Карсвелле. Однако хозяйка дома избавила ее от необходимости аккуратно подводить разговор к этой теме: едва они принялись за ланч, она произнесла, обращаясь к мужу:

– Я видела нашего «лаффордского аббата» нынче утром.

Хозяин присвистнул.

– Правда? Интересно, каким ветром его сюда занесло?

– Бог его знает; он как раз выходил из ворот Британского музея, когда я проезжала мимо.

Вполне естественно, что жена секретаря поинтересовалась, о настоящем ли аббате идет речь.

– О нет, моя дорогая: это просто наш сосед из Уорикшира, который несколько лет назад приобрел в собственность Лаффордское аббатство. На самом деле его зовут Карсвелл.

– Он ваш друг? – спросил секретарь, незаметно для хозяев подмигнув жене.

В ответ на него обрушился настоящий поток красноречия. На самом деле ничего, что свидетельствовало бы в пользу мистера Карсвелла, сказать было невозможно: его занятия были скрыты от посторонних глаз; у него в услужении состояли люди самого низшего разбора; он придумал себе новую религию и практиковал отвратительные обряды, о которых, впрочем, никто ничего не знал достоверно; он чрезвычайно легко обижался и никогда не прощал обид; у него была отталкивающая наружность (так утверждала хозяйка, меж тем как ее супруг вяло ей возражал); он ни разу в жизни никому не сделал добра, от него исходил один только вред.

– Дорогая, будь же к нему справедлива, – прервал хозяин монолог жены. – Ты, верно, забыла, какое развлечение он устроил для школьной детворы.

– Забудешь такое, как же! Впрочем, хорошо, что ты упомянул тот случай – он дает ясное представление об этом человеке. Вот послушайте, Флоренс. В первую зиму, которую он встретил в Лаффорде, наш замечательный сосед написал священнику своего прихода (мы не его прихожане, но очень хорошо его знаем) письмо с предложением устроить для школьников показ картинок посредством волшебного фонаря. Он заявил, что у него есть новые образцы, которые, как ему кажется, вызовут у детей интерес. Священник был несколько озадачен, поскольку прежде мистер Карсвелл определенно не жаловал детвору – сетовал на ее вторжения в его усадьбу и прочие подобные шалости. Тем не менее согласие было дано, и в назначенный вечер наш друг отправился самолично взглянуть на представление и удостовериться, что все идет как должно. По его словам, он никогда не испытывал такой благодарности небесам, какую ощутил в тот день оттого, что на показе не присутствовали его собственные дети – они в это время были на детском празднике, который мы устроили у себя в доме. Потому как мистер Карсвелл, несомненно, затеял все это лишь для того, чтобы перепугать деревенских ребятишек до смерти, и я уверена, что, если бы ему позволили про-

должать, он добился бы своей цели. Начал он со сравнительно безобидных вещей – картинок, иллюстрирующих сказку о Красной Шапочке, – но даже на них, как утверждает мистер Фаррер, волк оказался таким отвратительным, что нескольких малышей пришлось увести. Священник говорит также, что мистер Карсвелл, рассказывая эту сказку, издал звук, который напоминал отдаленный волчий вой и ужаснее которого мистеру Фарреру в жизни не доводилось слышать. Все изображения были сделаны в высшей степени искусно и отличались необыкновенным правдоподобием; священник понятия не имеет, где Карсвелл их раздобыл или как сумел изготовить. Меж тем представление продолжалось, истории становились все страшнее, дети, зачарованные зрелищем, притихли. И наконец их взорам предстала серия картинок, изображавших маленького мальчика, который вечерней порой шел через принадлежащий Карсвеллу Лаффордский парк. Любого ребенок в комнате мог без труда узнать это место. Так вот, мальчика преследовало – сперва хоронясь за деревьями, но постепенно становясь все более видимым – некое ужасное прыгающее существо в белом одеянии; в конце концов это существо настигало несчастного и то ли разрывало его на части, то ли расправлялось с ним каким-то другим способом. Мистер Фаррер сказал, что именно этому зрелищу он обязан самым жутким из когда-либо снявшихся ему кошмаров, и трудно даже представить, как оно могло подействовать на детей. Конечно, это было уже чересчур, о чем он и заявил в крайне резких выражениях мистеру Карсвеллу, добавив, что не позволит ему продолжать. На что тот ответил: «А, так вы полагаете, что пора завершать наше маленькое представление и отправлять детишек домой, по кроваткам? *Очень хорошо*». И затем – вы только вообразите – он вставил в волшебный фонарь еще одну пластинку, и на экране появилось огромное скопление змей, сороконожек и омерзительных крылатых тварей; вдобавок ему удалось, посредством каких-то уловок, создать впечатление, будто эти гады выбрались из картинки и расползаются среди зрителей, и сопровождать все это каким-то сухим шелестом, который едва не свел детей с ума и, конечно, заставил их вскочить со своих мест. Выбираясь из комнаты, многие заработали себе синяки и набили шишки, и навряд ли хоть один ребенок в ту ночь заснул. Случившееся вызвало в деревне ужасный переполох. Матери, разумеется, возложили львиную долю вины на бедного мистера Фаррера, а отцы, наверное, перебили бы все стекла в окнах аббатства, если бы сумели проникнуть за его ворота. Вот что представляет собой мистер Карсвелл, наш «лаффордский аббат»; из этого, моя дорогая, вы сами можете заключить, сильно ли мы жаждем общения с ним.

– Да, я полагаю, у него несомненно есть преступные задатки, у этого Карсвелла, – заметил хозяин. – Не завидую участи того, кого он сочтет своим недругом.

– Не тот ли это человек – или я путаю его с кем-то другим, – вступил в разговор секретарь, который уже несколько минут озабоченно хмурился, словно пытаясь что-то вспомнить, – не тот ли это человек, что в свое время выпустил в свет «Историю колдовства»? Лет десять назад, если не больше?

– Он самый. Вы помните, какие отзывы снискал этот труд?

– Конечно, помню, и, что не менее важно, я знал автора самого язвительного из них. Да и вы должны помнить Джона Харрингтона – он учился в Сент-Джонс-колледже в одно время с нами.

– Да, в самом деле, я отлично его помню, хотя после окончания университета, кажется, не имел о нем никаких известий, до тех пор, пока не наткнулся на отчет о расследовании по его делу.

– О расследовании? – переспросила одна из дам. – А что с ним случилось?

– Ну, случилось так, что он упал с дерева и сломал себе шею. Но что побудило его туда забраться, так и осталось загадкой. Довольно-таки темная история, надо сказать. Человек, не наделенный атлетическим сложением и, насколько нам известно, не склонный к эксцентризму, возвращается поздним вечером домой по проселочной дороге, на которой нет никаких

бродяг, которая пролегает через места, где его хорошо знают и любят, – и вдруг ни с того ни с сего бросается бежать как безумный, теряет шляпу и трость и в довершение всего карабкается на дерево, составляющее часть живой изгороди, куда залезть не так-то просто. Сухая ветка не выдерживает его веса, он падает, и утром его находят лежащим на земле со сломанной шеей и с выражением неопишуемого ужаса на лице. Разумеется, совершенно ясно, что за ним гнались; поговаривали об одичавших собаках, о хищных животных, сбегавших из зверинца, но дальше предположений дело не пошло. Случилось это в восемьдесят девятом году, и с тех пор его брат Генри (которого вы, возможно, не знали в Кембридже, а я знал так же хорошо, как самого Джона) пытается найти объяснение случившемуся. Он, конечно, утверждает, что здесь имел место злой умысел, но мне трудно понять, каким образом он мог быть претворен в жизнь.

Прошло некоторое время, и разговор вернулся к «Истории колдовства».

– А вы в нее когда-нибудь заглядывали? – любопытно спросил хозяин дома.

– Не только заглядывал, но даже прочел целиком, – ответил секретарь.

– И что же, она и вправду так плоха, как утверждали рецензенты?

– В том, что касается стиля и построения, совершенно безнадежна и вполне заслуживает тех уничижительных отзывов, которых удостоилась. Но, кроме того, это зловещая книга. Этот человек верил в каждое написанное им слово, и думаю, я не сильно ошибусь, предположив, что действенность большинства своих рецептов он проверил на практике.

– Ну, что до меня, то я помню лишь отзыв Харрингтона и должен признаться, что, будь я автором книги, подобная отповедь отбила бы у меня всякое желание вновь братья за перо. После такого я бы ни за что не осмелился вновь поднять голову.

– В данном случае результат оказался иным. Но постойте, уже половина четвертого; я вынужден проститься.

По дороге домой жена секретаря сказала:

– Надеюсь, этот ужасный человек все же не узнает, что мистер Даннинг причастен к отклонению его рукописи.

– Думаю, это маловероятно, – ответил секретарь. – Сам Даннинг не станет об этом распространяться, поскольку такие вопросы считаются конфиденциальными, да и мы этого делать не будем – по той же самой причине. Догадаться Карсвелл не сможет, ведь Даннинг не публиковал никаких работ по теме, которой посвящен этот злополучный доклад. Единственная опасность заключается в том, что Карсвелл надумает поинтересоваться у сотрудников Британского музея, кто из читателей имеет обыкновение заказывать алхимические кодексы: я ведь не могу запретить им упоминать имя Даннинга, верно? Это лишь подстегнуло бы их все немедленно ему рассказать. Но будем надеяться, что подобного не случится.

Мистер Карсвелл, однако, оказался проницательным человеком.

Все вышеизложенное – своего рода пролог истории. Как-то вечером в конце той же недели мистер Эдвард Даннинг возвращался после своих научных занятий из Британского музея в уютный пригородный дом, где жил один, опекаемый двумя прилежными служанками, которые состояли при нем уже долгое время. К описанию мистера Даннинга, которое мы слышали прежде, нам добавить нечего, а посему последуем за ним в его спокойном возвращении домой.

Станция, на которую мистера Даннинга доставлял поезд, находилась в паре миль от его дома; он преодолевал это расстояние на пригородном трамвае и затем пешком – от конечной остановки до его парадной двери было около трехсот ярдов. В этот день он вдоволь начитался еще до того, как сел в вагон, да и скудное освещение в трамвае располагало разве что к разглядыванию объявлений на оконных стеклах рядом со своим местом. Вполне есте-

ственно, что объявления, расклеенные на этом трамвайном маршруте, ему приходилось изучать довольно часто, и, если не считать блестящего и убедительного диалога между мистром Лэмплоу и знаменитым Кингз-колледжем по поводу антипиретической соли, ни одно из них не способно было увлечь его воображение. Впрочем, не совсем так: на сей раз мистер Даннинг заметил в самом дальнем углу вагона одно объявление, которое, насколько он помнил, ему прежде не доводилось видеть. Со своего места он не мог разобрать ничего из написанного синими буквами на желтом поле – ничего, кроме имени Джона Харрингтона и ряда цифр, похоже, составлявших дату. Возможно, это и не заслуживало внимания, однако, когда вагон несколько опустел, любопытство все же побудило мистера Даннинга перебраться на то место, откуда текст был различим целиком. Его старания оказались до известной степени вознаграждены – объявление и впрямь было необычным. В нем говорилось: *«В память о мистере Джоне Харрингтоне, ч. о. а., «Лавры», Эшбрук, скончавшемся 18 сентября 1889 года после трехмесячной отсрочки».*

Вагон остановился. Мистер Даннинг продолжал разглядывать синие буквы на желтом фоне, и лишь оклик кондуктора заставил его вернуться к действительности.

– Прошу простить меня, – сказал он. – Я изучал вот это объявление – оно в высшей степени странное, вы не находите?

Кондуктор медленно прочитал надпись.

– Надо же, – произнес он, – никогда не видел его прежде. Какое-то чудачество, иначе не скажешь. Кто-то дурака валяет, вот что я думаю.

Он достал тряпку, поплевал на нее и потер стекло – сперва изнутри, а затем, выйдя из вагона, и снаружи.

– Нет, – констатировал он по возвращении, – оно не просто наклеено. Сдается мне, оно находится *внутри* стекла, то есть в самом веществе, как вы бы сказали. А вам так не кажется, сэр?

Мистер Даннинг исследовал надпись, поскреб стекло пальцем в перчатке и вынужден был согласиться с собеседником.

– Кто отвечает за размещение объявлений в вагоне? – спросил он. – Мне бы хотелось, чтобы вы выяснили, как появилась здесь эта надпись. А текст ее я, с вашего разрешения, перепишу.

В этот момент до них донесся голос вагоновожатого:

– Пошевеливайся, Джордж, время поджигает!

– Ладно, ладно, – ответил кондуктор. – Здесь тоже кое-что зажато, прямо в стекле. Иди-ка глянь.

– Ну, что тут у тебя в стекле? – спросил вагоновожатый, подойдя к ним. – Ну и кто такой этот Харрингтон? О чем вообще речь?

– Я как раз поинтересовался, кто отвечает за размещение объявлений в вагонах, и сказал, что было бы неплохо разузнать, как попало сюда это, – пояснил Даннинг.

– Ну, сэр, это все делается в конторе компании; думаю, этим ведает мистер Тиммз. Вечером, как закончим смену, я порасспрошу его и, возможно, завтра смогу что-то вам рассказать, если опять поедете этой дорогой.

Больше ничего примечательного в тот вечер не произошло. Мистер Даннинг лишь дал себе труд выяснить месторасположение Эшбрука и установил, что тот находится в Уорикшире.

На следующий день он вновь отправился в город. В утренний час в вагоне (а это оказался тот самый вагон) было таклюдно, что Даннингу не удалось перемолвиться с кондуктором ни единым словом; он смог лишь убедиться, что объявление, так заинтересовавшее его накануне вечером, кем-то убрано. Конец дня добавил происходящему загадочности. Даннинг опоздал на трамвай или же просто решил прогуляться до дому пешком, но в довольно

поздний час, когда он работал у себя в кабинете, одна из служанок пришла сообщить, что два человека из трамвайного депо хотят во что бы то ни стало переговорить с ним. Он сразу вспомнил про объявление, о котором, по его собственным словам, почти успел позабыть. Пригласив визитеров в кабинет (ими оказались кондуктор и вагоновожатый) и предложив им напитки, он поинтересовался, что сказал по поводу объявления мистер Тиммз.

– Из-за этого-то мы и решились прийти к вам, сэр, – сказал кондуктор. – Мистер Тиммз, услышав про надпись, крепко выбранил Уильяма. Он говорит, что никто подобного объявления не давал, не заказывал, не оплачивал и не вывешивал, и вообще его там быть не могло, а мы только дурака валяем, отнимая у него время. Ну, говорю я, коли так, то все, о чем я прошу вас, мистер Тиммз, это сходить и взглянуть на него собственными глазами. И конечно, если его там нет (продолжаю я), тогда вы можете называть меня как вам угодно. Хорошо, говорит он, я схожу. И мы не мешкая отправились в вагон. А теперь скажите мне, сэр, разве не было то объявление, как мы их называем, с именем Харрингтона синими буквами на желтом стекле, видно яснее ясного и – как я тогда сказал, а вы со мной согласились – помещено *внутрь* стекла? Если помните, я еще пытался стереть его своей тряпкой.

– Будьте уверены, я помню совершенно отчетливо. Хорошо, ну и что же дальше?

– По мне, так не очень-то хорошо. А дальше мистер Тиммз заходит в вагон с фонарем – нет, не так, он велел Уильяму держать зажженный фонарь снаружи. Ну, говорит, и где ваше драгоценное объявление, о котором вы мне уши прожужжали? Вот оно, мистер Тиммз, говорю я и кладу руку на то место, где оно должно быть. – Сказав это, кондуктор умолк.

– И, – заговорил мистер Даннинг, – полагаю, оно исчезло. Стекло оказалось разбито?

– Разбито? Нет. Не знаю, поверите вы мне или нет, но от тех синих букв на стекле не осталось и следа – не больше, чем на... ну, да что говорить. В жизни не видел ничего подобного. Пусть Уильям скажет, если... но, повторяю, чего ради я стал бы выдумывать?

– А что сказал мистер Тиммз?

– Да именно то, что я сам позволил ему сказать в такой ситуации: обзвал нас обоих на разные лады, и не думаю, что его стоит за это сильно винить. Но мы – Уильям и я – вот о чем подумали: мы ведь видели, как вы переписали себе что-то из того объявления – ну из той надписи.

– Именно так, и эта запись сейчас у меня. Вы хотите, чтобы я лично поговорил с мистером Тиммзом и показал написанное ему? Вы ведь за этим ко мне пришли?

– Ну а я что говорил? – сказал Уильям, обращаясь к своему товарищу. – Нужно иметь дело с джентльменом, если можешь отыскать такового, вот что я скажу. Небось теперь, Джордж, ты признаешь, что я не напрасно потащил тебя на ночь глядя в такую даль?

– Ладно, ладно, Уильям, не делай вид, будто ты меня силком сюда приволок. Я ведь вел себя смирно, правда? Тем не менее нам не следовало отнимать у вас столько времени, сэр; и все же мы были бы вам ужасно признательны, если бы вы смогли заглянуть поутру в нашу контору и рассказать мистеру Тиммзу о том, что видели собственными глазами. Понимаете, нас беспокоит не то, что он обзывал нас так и этак; но если в конторе решат, что нам мерещится то, чего нет, то, слово за слово – и где мы окажемся через год?.. Ну, вы понимаете, о чем я.

И, продолжая на ходу строить предположения, Джордж, подталкиваемый Уильямом, покинул кабинет.

Недоверие мистера Тиммза (который был шапочно знаком с мистером Даннингом и прежде) было значительно поколеблено на следующий день благодаря тому, что посетитель ему рассказал и продемонстрировал; и никаких пометок, неблагоприятных для репутации Уильяма и Джорджа, напротив их имен в документах компании не появилось. Однако и объяснения случаю в трамвае тоже не было.

Днем позже произошло еще одно событие, которое только усилило интерес мистера Даннинга к этому делу. Направляясь из своего клуба к железнодорожной станции, он заметил чуть впереди человека с пачкой листовок наподобие тех, что раздают прохожим агенты торговых фирм. Этот агент, впрочем, выбрал для своей рекламной акции не слишком оживленную улицу: пока мистер Даннинг не поравнялся с ним, распространителю листовок не удалось заинтересовать своей информацией ни одного человека. Листок оказался в руке у Даннинга, когда он проходил мимо, при этом незнакомец невзначай коснулся его руки, заставив его слегка вздрогнуть. Рука, вручившая листовку, была неестественно горячей и грубой. Даннинг мельком глянул на распространителя, но зрительный образ, оставшийся у него в памяти, оказался настолько смутным, что, как ни пытался он впоследствии мысленно восстановить его, все было тщетно. Не замедляя шага, он на ходу окинул взглядом бумагу. Она была голубого цвета, и ему в глаза бросилась фамилия Харрингтон, напечатанная крупными прописными буквами. Мистер Даннинг остановился, пораженный, и принялся искать очки. В следующее мгновение какой-то человек, быстро проходивший мимо, вырвал бумагу у него из рук и бесследно исчез. Даннинг пробежал чуть назад, но не обнаружил ни прохожего, схватившего листок, ни распространителя.

На следующий день мистер Даннинг, пребывая в несколько задумчивом настроении, вошел в Отдел редких рукописей Британского музея и заполнил требования на Харли 3586 и некоторые другие тома. Спустя непродолжительное время, получив заказанные манускрипты, он водрузил фолиант, с которого хотел начать чтение, на стол, и вдруг ему показалось, что у него за спиной кто-то произнес шепотом его имя. Мистер Даннинг поспешно обернулся, ненароком смахнув со стола свою папку с бумагой для записей, но не увидел никого из знакомых, кроме смотрителя отдела, который приветственно кивнул ему, и принялся собирать рассыпавшиеся по полу листки. Решив, что подобрал все, он вернулся на место и уже намеревался приступить к работе, когда дородный джентльмен (который сидел позади него и теперь, судя по всему, приготовился уходить) сказал, тронув мистера Даннинга за плечо: «Позвольте отдать это вам. Мне кажется, это ваше», – после чего вручил ему утерянный бумажный листок.

– Да, это мое, благодарю вас, – ответил мистер Даннинг, и в следующий миг любезный незнакомец покинул помещение.

По завершении намеченных на этот день дел мистеру Даннингу довелось разговаривать с дежурным сотрудником отдела, и он, пользуясь случаем, поинтересовался, как зовут того полного джентльмена.

– О, его фамилия Карсвелл, – ответил сотрудник. – Неделю назад он просил меня назвать ему имена самых крупных знатоков в области алхимии, и я, конечно, указал на вас как на единственного в стране специалиста по этому предмету. Я узнаю, когда его можно будет застать здесь; уверен, он обрадуется знакомству с вами.

– Ради бога, даже не думайте об этом! – воскликнул мистер Даннинг. – Я всячески стараюсь избежать встречи с ним.

– Что ж, хорошо, – пожал плечами дежурный. – Он нечасто сюда приходит; смею предположить, что вы навряд ли с ним столкнетесь.

В тот день, возвращаясь домой, мистер Даннинг не раз мысленно признавался себе, что перспектива провести вечер в уединении не вселяет в его душу привычной радости. Ему казалось, будто между ним и окружающими людьми пролегло нечто неосоздаемое и трудноуловимое – и властно заявило свои права на него. В поезде и в трамвае ему хотелось сесть поближе к соседям-пассажирам, но таковых, как нарочно, и в том и в другом вагоне оказалось крайне мало. Кондуктор Джордж выглядел задумчивым, как будто с головой ушел в подсчет численности пассажиров. Добравшись до дому, мистер Даннинг увидел доктора Уотсона, своего врача, который ожидал его у порога.

– Весьма сожалею, Даннинг, что вынужден был нарушить ваш домашний распорядок. Обе ваши служанки hors de combat². По правде говоря, мне пришлось отправить их в больницу.

– Господи! Что случилось?

– Напоминает отравление трупным ядом. Сами вы, как я вижу, не пострадали, иначе не смогли бы так вот разгуливать. Но я думаю, они поправятся.

– Боже правый! У вас есть какие-нибудь предположения, почему это произошло?

– Ну, они говорят, что купили на обед устриц у какого-то разносчика. Это странно. Я навел справки: ни к кому из ваших соседей по улице никакой разносчик не заходил. Я не мог сообщить вам... некоторое время ваших служанок при вас не будет. Как бы то ни было, приходите ко мне на ужин нынче вечером, и мы обсудим, что делать дальше. В восемь часов. И не тревожьтесь без нужды.

Вечера в одиночестве, таким образом, удалось избежать – правда, ценой весьма печальных обстоятельств и вызванных ими бытовых неудобств. Мистер Даннинг довольно приятно провел время в обществе доктора (сравнительно недавно поселившегося в этих местах) и вернулся в свой опустевший дом около половины двенадцатого. Наступившую вскоре ночь он едва ли вспоминал по прошествии времени с удовольствием. Погасив свет, Даннинг лежал в постели и прикидывал, достаточно ли рано придет утром поденщица, чтобы согреть к его пробуждению воды, как вдруг услышал звук, который не мог не узнать: открылась дверь его рабочего кабинета. Никаких шагов из коридора за этим не последовало, однако донесшийся до него звук был, несомненно, недобрым знаком – Даннинг отлично помнил, что вечером, убрав бумаги в ящик стола и выйдя из кабинета, закрыл за собой дверь. Скорее стыд, чем храбрость, заставил его выскользнуть в ночной рубашке в коридор и, перегнувшись через перила лестницы, вслушаться в тишину. Нигде не было видно ни единого проблеска света, ничто не нарушало тишины, лишь его голени на мгновение овеял поток теплого, даже горячего воздуха. Мистер Даннинг вернулся в спальню и решил запереть дверь изнутри. Неприятности, однако, еще не закончились. То ли местная электрокомпания, решив, что ее услуги в ночное время не нужны, отключила свет в целях экономии, то ли что-то случилось со счетчиком, но только электричества в доме не было. Даннинг ощутил вполне естественное в этой ситуации желание отыскать спички и выяснить, который час и как долго ему еще придется терпеть неудобство. С этим намерением он запустил руку в хорошо знакомый укромный уголок под подушкой, но вместо часов наткнулся на то, что, как он уверяет, было зубастым ртом, поросшим волосами и ничуть не похожим на человеческий. Едва ли есть смысл гадать, что он в этот момент сказал или сделал; известно только, что, сам не понимая как, он оказался в соседней комнате возле запертой изнутри двери, к которой настороженно припал ухом. Там он и провел остаток самой несчастной в его жизни ночи, ежесекундно ожидая уловить движение за дверью; однако больше ничего не случилось.

Утром, то и дело вздрагивая и вслушиваясь в тишину, он вернулся в спальню. Дверь, к счастью, была распахнута настежь, а жалюзи подняты (поскольку накануне служанки покинули дом еще до наступления темноты). Одним словом, ничто не говорило о том, что в комнате кто-то побывал. Часы мистера Даннинга также находились на своем обычном месте; все пребывало в полном порядке – кроме разве что дверцы платяного шкафа, как всегда, немного приоткрытой. С черного хода раздался звонок, который возвестил о приходе поденщицы, нанятой днем раньше; с ее появлением мистер Даннинг достаточно осмелел, чтобы перенести свои поиски в другие уголки дома. Но и там его разыскания не увенчались каким-либо успехом.

² Здесь: занемогли (*фр.*).

Начавшийся подобным образом день и продолжился довольно уныло. Отправиться в музей мистер Даннинг не решился: вопреки уверению дежурного, Карсвелл мог в любой момент там появиться, а Даннинг не чувствовал в себе сил противостоять враждебно настроенному незнакомцу. Собственный дом сделался ему ненавистен, однако и злоупотреблять гостеприимством доктора было неловко. Он несколько приободрился, когда, дозвонившись до больницы и справившись о самочувствии горничной и экономки, услышал обнадеживающий ответ. Близилось время ланча, и Даннинг отправился в клуб, где нашелся еще один повод для радости: он повстречался там с секретарем вышеупомянутой Ассоциации. За ланчем он рассказал своему другу о поразившем его домоуправительниц недуге, однако не решился поведать о том, что сильнее всего тяготило его душу.

– Как это печально, мой бедный дорогой друг! – воскликнул секретарь. – Послушайте: мы с женой живем совершенно одни; вам следует на некоторое время поселиться у нас. И не возражайте: сегодня же днем присылайте свои вещи!

Даннинг не нашел в себе сил воспротивиться этой идее: по правде говоря, его, что ни час, все сильнее терзали мысли о том, что принесет ему ближайшая ночь. Он был почти счастлив, когда, охваченный нетерпением, возвращался домой собирать вещи.

Друзья, к которым мистер Даннинг вскоре прибыл, как следует присмотревшись к нему, поразились его удрученному виду и, как могли, постарались поднять ему настроение – надо сказать, не без успеха. Однако позднее, когда мужчины курили вдвоем, лицо Даннинга вновь омрачилось. Неожиданно он произнес:

– Гэйтон, мне кажется, тот алхимик знает, что его доклад отклонен по моей рекомендации.

Секретарь присвистнул.

– Почему вы так думаете? – спросил он.

Даннинг пересказал ему свой разговор с сотрудником музея, и Гэйтон вынужден был признать, что догадка друга, по всей видимости, верна.

– Не то чтобы я был сильно обеспокоен, – продолжал Даннинг, – но, доведись нам встретиться, могут быть неприятности. Как мне кажется, он довольно вздорный субъект.

Разговор вновь прервался; лицо и весь облик Даннинга выдавали все возрастающее отчаяние; проникшись участием к другу, Гэйтон в конце концов собрался с духом и спросил напрямик, не гнетет ли его что-то серьезное. Даннинг в ответ издал возглас облегчения.

– Я тщетно пытался прогнать от себя эти мысли, – сказал он. – Вам что-нибудь известно о человеке по имени Джон Харрингтон?

Гэйтон был так поражен услышанным, что вместо ответа лишь поинтересовался, почему Даннинг об этом спрашивает. И тот поведал секретарю всю историю своих злоключений – обо всем, что произошло с ним в трамвае, в его собственном доме и на улице, о тревоге, которая охватила его и никак не хотела исчезать, – и под конец повторил свой вопрос. Гэйтон не знал, что ответить другу. Вероятно, стоило бы рассказать ему о том, как умер Харрингтон; вот только находившийся в нервическом состоянии Даннинг едва ли был подходящим слушателем для такого рассказа, да и вертевшийся в голове вопрос, не является ли Карсвелл звеном, связующим оба случая, никак не способствовал принятию решения. Человеку науки было нелегко допустить подобное; впрочем, термин «гипнотическое внушение» мог смягчить ситуацию. В конце концов секретарь решил, что пока следует ответить на вопрос Даннинга осторожно и нынче же вечером обсудить эту тему с женой. Поэтому он сказал, что знал Харрингтона в Кембридже, что, кажется, тот внезапно умер в 1889 году, и добавил к этому некоторые подробности касательно самого Харрингтона и опубликованных им работ. Несколько позже он переговорил обо всем этом с миссис Гэйтон, и она, как и предвидел супруг, незамедлительно сделала вывод, к которому он склонялся и сам. Именно она напом-

нила мужу о Генри Харрингтоне, брате покойного Джона, и посоветовала связаться с ним через друзей, у которых им недавно довелось побывать в гостях.

– Он, должно быть, неисправимый чудак, – возразил ей Гэйтон.

– Это можно выяснить у Беннетов, они хорошо его знают, – ответила миссис Гэйтон и на следующий же день встретила с упомянутой четой.

Вряд ли имеет смысл излагать дальнейшие подробности знакомства Даннинга с Генри Харрингтоном. Зато нельзя обойти вниманием состоявшуюся между ними беседу. Даннинг рассказал Харрингтону, каким странным образом ему стало известно имя покойного, а также поведал о череде более поздних событий из собственной жизни. Потом он спросил, не мог бы Харрингтон в свою очередь припомнить обстоятельства, при которых умер его брат. Нетрудно представить себе, насколько собеседник Даннинга был удивлен услышанным; тем не менее он с готовностью ответил на вопрос.

– В течение нескольких недель, предшествовавших трагедии (хотя и не перед самым концом), Джон, несомненно, временами пребывал в очень странном состоянии, – сказал он. – Тому есть ряд подтверждений, главное из которых заключается в том, что ему казалось, будто его кто-то преследует. Несомненно, он был впечатлительным человеком, но подобных навязчивых идей за ним прежде не замечалось. Я никак не могу отделаться от мысли, что случившееся с ним стало следствием чьей-то злой воли, а ваш рассказ о собственных злоключениях живо напомнил мне о моем брате. Как вы думаете, здесь может существовать какая-то связь?

– У меня есть только одно смутное предположение. Я слышал, что ваш брат незадолго до смерти опубликовал весьма нелюбезный отзыв об одной книге, а мне совсем недавно довелось перейти дорогу тому самому человеку, который ее написал, и здорово его этим обидеть.

– Только не говорите, что его фамилия Карсвелл!

– Почему же? Именно о нем и идет речь.

Генри Харрингтон откинулся на спинку кресла.

– Тогда, на мой взгляд, все очевидно. Теперь я должен объяснить подробнее. Разговаривая с братом, я убедился, что он, сам того не желая, начал видеть в Карсвелле источник своих несчастий. Расскажу вам кое о чем, что, по-моему, имеет отношение к делу. Мой брат очень любил музыку и часто посещал концерты, проходящие в городе. Как-то раз, месяца за три до смерти, вернувшись с одного такого концерта, он показал мне программку – обзорную программку: он всегда их сохранял. «На этот раз я едва без нее не остался, – сказал он. – Вероятно, свой экземпляр я выронил. Во всяком случае, я искал ее под креслом, в карманах и в разных других местах, и в итоге мой сосед предложил мне свою, сказав, что она ему больше не нужна; почти сразу после этого он ушел. Кто это был, я не знаю: такой полноватый, чисто выбритый человек. Мне было бы жаль лишиться программки: конечно, я мог бы купить еще одну, но эта-то досталась мне даром». Впоследствии он признался мне, что по пути в гостиницу и в продолжение ночи чувствовал себя крайне неудобно. Вспоминая это теперь, я мысленно связываю те события в единую нить. Некоторое время спустя он разбирали свои программки, раскладывая их по порядку, чтобы затем переплести, и на первой странице той, которую обронил в театре (и на которую я тогда, признаться, едва глянул), обнаружил полоску бумаги с какими-то странными письменами; выведенные чрезвычайно аккуратно красными и черными чернилами, эти буквы более всего напомнили мне руническое письмо. «О! – воскликнул он. – Должно быть, это принадлежит моему полноватому соседу. Судя по ее виду, эта запись важная и ее следует вернуть владельцу; возможно, она откуда-то скопирована и определенно стоила кому-то немалого труда. Как бы мне узнать его адрес?» Коротко посоветовавшись, мы решили, что не стоит давать объявление о находке – лучше поискать того человека на очередном концерте, куда мой брат в скором времени соби-

рался. Было это в холодный, ветреный летний вечер; мы вдвоем сидели возле камина, а пресловутая находка лежала поверх книжного переплета. Полагаю, ветер приоткрыл дверь, хотя сам я этого не видел; так или иначе, поток теплого воздуха внезапно прошел между нами, подхватил бумажную полоску с надписью и направил ее прямым ходом в огонь; легкая и тонкая, она ярко вспыхнула и пепельным лепестком улетела в дымоход. «Ну вот, – сказал я, – теперь ты не сможешь ее вернуть». С минуту он молчал, потом раздраженно бросил: «Сам знаю, что не смогу; но зачем без конца это повторять?» Я возразил ему, заметив, что упомянул о потере всего один раз. «Всего четыре раза, ты хотел сказать», – произнес он и умолк. Это происшествие запомнилось мне необычайно ясно – уже не знаю, по какой причине.

Теперь перехожу к самому главному. Не знаю, случалось ли вам заглядывать в книгу Карсвелла, которую рецензировал мой несчастный брат, но подозреваю, что нет. А вот мне доводилось читать ее, причем как до, так и после кончины брата. В первый раз мы потешались над ней вместе с Джоном. Там нет даже намека на какой бы то ни было стиль – незавершенные периоды и всевозможные ошибки, от которых любому выпускнику Оксфорда сделалось бы дурно. Кроме того, автор безоговорочно верит во все, о чем пишет: классические мифы и истории из «Золотой легенды» перемешаны у него с документальными рассказами про обычаи современных дикарей; все это, несомненно, заслуживает серьезного отношения, но только надо уметь это использовать – а он, увы, не умеет: он, похоже, не видит разницы между «Золотой легендой» и «Золотой ветвью» и верит им обеим; одним словом, жалкое зрелище. Так вот, уже после того как с братом произошло несчастье, мне довелось перечитать эту книгу. Она, разумеется, не стала лучше, но на сей раз открылась мне в каком-то ином свете. Я, как вы уже знаете, подозревал, что Карсвелл питал враждебные чувства к моему брату и даже был в известной мере повинен в случившемся; и теперь эта книга показалась мне в высшей степени зловещим произведением. Особенно поразила меня одна глава, где он говорит о «подброшенных рунах», с помощью которых можно привязывать к себе людей или, напротив, убирать их со своего пути (главным образом последнее); то, как об этом сказано, заставляет думать, что автор рассуждал о подобных заклятиях, исходя из собственного реального опыта. Сейчас не время вдаваться в детали, но в результате своих размышлений я совершенно уверился, что тем любезным человеком на концерте был Карсвелл. Я подозреваю – даже более чем подозреваю, – что сгоревшая бумажка имела важное значение, и мне верится, что, сумеет мой брат вернуть ее, он, возможно, был бы сейчас жив. И потому хочу спросить: не случилось ли с вами чего-то похожего на то, что рассказал я?

В ответ Даннинг поведал о происшествии в Отделе рукописей Британского музея.

– Так, значит, он и вправду передал вам какие-то бумаги? Вы их рассмотрели? Нет? Тогда, с вашего позволения, нам необходимо взглянуть на них тотчас же, и притом очень внимательно.

Они отправились в дом Даннинга, по-прежнему пустовавший; обе служанки были еще слишком слабы, чтобы вновь приступить к исполнению своих обязанностей. Папка для бумаг лежала на письменном столе, постепенно покрываясь пылью. Внутри обнаружилась пачка листов небольшого формата, которые Даннинг использовал для беглых заметок; он вынул их и принялся перебирать, и вдруг от одного из листов отделилась легкая тонкая бумажная полоска, с удивительной быстротой заскользившая по кабинету. Окно было открыто, но Харрингтон захлопнул его как раз вовремя, чтобы не дать бумажке выпорхнуть наружу, и сумел схватить ее на лету.

– Так я и думал, – произнес он. – Эта штука, может статься, того же рода, что и полученная моим братом. Отныне вам следует соблюдать осторожность, Даннинг. Это может иметь для вас очень серьезные последствия.

Затем они долго совещались. Тщательное исследование найденной бумажки подтвердило правоту слов Харрингтона: начертанные на ней знаки более всего походили на руны,

однако расшифровке не поддавались; ни Даннинг, ни Харрингтон не решились скопировать эти знаки – из опасения придать сил злой воле, которая могла в них таиться. Немного забежав вперед, заметим, что это необычное послание или поручение так и осталось непрочтенным. Однако ни Даннинг, ни Харрингтон не сомневались, что обнаруженный ими документ обладает способностью окружать своих владельцев крайне нежелательными спутниками. Оба они были убеждены, что его нужно вернуть туда, откуда он появился, причем для большей уверенности в успехе необходимо сделать это собственноручно; последнее предполагало немалую изобретательность, ибо Карсвелл знал Даннинга в лицо, и тому требовалось по крайней мере сбрить бороду, чтобы как-то изменить внешность. Но что, если удар будет нанесен раньше? Харрингтон заявил, что они сумеют рассчитать время. Он знал дату концерта, на котором его брату была вручена «черная метка»: это случилось 18 июня, а смерть Джона Харрингтона последовала 18 сентября. Даннинг напомнил ему, что в надписи на вагонном стекле говорилось о трех месяцах отсрочки.

– Возможно, мне тоже выдан кредит на три месяца, – добавил он с грустной усмешкой. – Думаю, я могу установить это по своему дневнику. Да, та встреча в музее произошла двадцать третьего апреля, что переносит меня – если аналогия верна – в двадцать третье июля. Что ж, полагаю, вы понимаете, как важно для меня знать все, что вам будет угодно рассказать о постепенно разраставшейся черной полосе в жизни вашего брата, – если вы чувствуете в себе силы говорить об этом.

– Конечно. Сильнее всего прочего его угнетало чувство, что за ним постоянно следят, неизменно обострявшееся, когда он оставался один. Спустя некоторое время я стал ночевать в его спальне, и он несколько приободрился; правда, часто разговаривал во сне. О чем именно? Не знаю, разумно ли вдаваться в эти подробности, по крайней мере, пока задуманное нами не осуществлено. Полагаю, что нет, но могу сообщить вам вот что: как раз в те недели ему пришли по почте две посылки – обе с лондонским штемпелем и адресом получателя, написанным казенным почерком. В одной из них находился грубо вырванный из какой-то книги лист с гравюрой Бьюика, изображающей человека на залитой лунным светом дороге, за которым следует некое ужасное демоническое создание. Ниже шли строки из «Сказания о Старом Мореходе» (которое, как я полагаю, и иллюстрировала гравюра) о том, кто, однажды обернувшись,

не смотрит более назад,
Лишь ускоряет шаг,
Поскольку знает, что за ним
Крадется страшный враг.

В другой посылке был отрывной календарь, из тех, какие нередко рассылают торговцы. Мой брат не удостоил его вниманием, но я – уже после смерти Джона – перелистал этот календарь и обнаружил, что все листки в нем после 18 сентября вырваны. Вас, верно, удивляет, что он отважился предпринять одинокую прогулку в тот вечер, когда его убили, но дело в том, что дней за десять до смерти он совершенно избавился от ощущения слежки и чьего-то присутствия у себя за спиной.

Посоветовавшись, Харрингтон и Даннинг договорились о том, как будут действовать дальше. Харрингтон был знаком с одним из соседей Карсвелла и полагал, что это позволит ему отслеживать передвижения последнего. От Даннинга же требовалось быть готовым в любой момент встретиться с Карсвеллом, имея при себе бумажку с рунами – целую и невредимую и при этом хранящуюся в таком месте, откуда ее можно без труда извлечь.

На этом они расстались. Последующие несколько недель стали, без сомнения, суровым испытанием для нервов Даннинга: казалось, в тот день, когда он принял из рук Карсвелла

листок, вокруг него образовался неосязаемый барьер, постепенно сгущавшийся в давящую тьму, которая отсекала любые возможные пути спасения. Рядом с ним не было никого, кто мог бы указать ему подобные пути, а действовать самостоятельно у него, похоже, не было сил. На протяжении мая, июня и первой половины июля он в неопишуемой тревоге ждал сигнала от Харрингтона. Однако Карсвелл за все это время ни разу не покинул пределы Лаффорда.

Наконец, когда оставалось уже меньше недели до того дня, который воспринимался Даннингом как дата окончания его земной жизни, пришла телеграмма: «Выезжает с вокзала «Виктория» в четверг ночным поездом, с последующей пересадкой на пароход. Не упустите. Буду у вас вечером. Харрингтон».

Он прибыл в назначенный час, и они составили план действий. Поезд отправлялся с вокзала «Виктория» в девять вечера, и последней его остановкой перед Дувром был Кройдон-Вест. Харрингтону предстояло выследить Карсвелла на вокзале и найти в Кройдоне Даннинга, окликнув его, если потребуется, по заранее условленному имени. Тот в свою очередь должен был насколько возможно изменить внешность, снять с багажа все именные бирки и непременно иметь при себе пресловутый листок.

Волнение, в котором пребывал Даннинг, дожидаясь поезда на кройдонской платформе, думается, понятно без слов. В последние дни угнетавшее его чувство неотвратимой опасности лишь обострилось, несмотря на то что мрак вокруг него заметно рассеялся; облегчение, которое он испытал поначалу, являло собой зловещий симптом, и если Карсвеллу удастся ускользнуть (а это было вполне вероятно, даже слух о его предполагаемом путешествии мог оказаться не более чем хитроумной уловкой), то всякая надежда на спасение будет потеряна. Двадцать минут, в течение которых он мерил шагами платформу и донимал носильщиков вопросами о том, когда придет поезд, были едва ли не самыми мучительными в его жизни. Наконец поезд прибыл, и Даннинг увидел Харрингтона в окне одного из вагонов. Чтобы ничем не выдать факт их знакомства, Даннинг вошел в вагон с дальнего конца и лишь затем неторопливо приблизился к купе, в котором ехали Карсвелл и Харрингтон, не без удовольствия отметив про себя, что в поезде сравнительно не много пассажиров.

Карсвелл был настороже, но, судя по всему, не узнал Даннинга. Тот уселся наискосок от него и попытался – сперва безуспешно, но потом постепенно обретая самообладание – оценить, насколько возможна желанная передача. Рядом с ним на сиденье лежала целая груда принадлежавшей Карсвеллу верхней одежды, однако исподтишка засовывать туда листок не имело смысла: для того чтобы оказаться (и почувствовать себя) в безопасности, необходимо было каким-то образом передать Карсвеллу бумагу из рук в руки. Взгляд Даннинга упал на открытый саквояж противника и лежавшие внутри бумаги. Что, если изловчиться и незаметно убрать этот саквояж с глаз хозяина, чтобы Карсвелл забыл про него, выходя из вагона, а затем догнать попутчика и вручить ему потерю? Такой план напрашивался сам собой. Как пригодился бы сейчас совет Харрингтона! Но на это рассчитывать, увы, не приходилось. Одна за другой тянулись минуты. Несколько раз Карсвелл поднимался и выходил в коридор; во время второй его отлучки Даннинг уже приготовился было столкнуть саквояж на пол, но спохватился, поймав предостерегающий взгляд Харрингтона. Противник наблюдал за происходящим в купе из коридора, желая выяснить, знакомы ли его попутчики друг с другом. По возвращении он выглядел явно встревоженным; и, когда он опять поднялся со своего места, возник проблеск надежды, ибо что-то соскользнуло с его сиденья и с тихим шелестом упало на пол. Карсвелл снова вышел и на сей раз встал так, что его не было видно через окно в купейной двери. Даннинг поднял упавший предмет и обнаружил, что ключ к решению проблемы находится у него в руках: это был билетный футляр Кука с билетами внутри. На внешней стороне футляра имелся карман; не прошло и нескольких секунд, как неизвестная бумажная полоска оказалась в этом кармане. Для подстраховки операции

Харрингтон встал у двери и начал поправлять штору на окне. Дело было сделано, и сделано как раз вовремя, поскольку поезд уже начал замедлять ход, приближаясь к Дувру.

Мгновением позже Карсвелл возвратился в купе. Даннинг протянул ему футляр и произнес с неожиданной для него самой твердостью в голосе:

– Позвольте отдать вам это, сэр. Кажется, это ваше.

Мимоходом глянув на билет, лежавший внутри, Карсвелл произнес желанный ответ: «Да, это мое, премного благодарен вам, сэр», – и затем убрал футляр в нагрудный карман.

Даже в немногие остававшиеся до прибытия в Дувр минуты – минуты, полные напряжения и тревоги, связанных с риском преждевременного обнаружения подброшенного листка, – оба джентльмена заметили, что в купе вокруг них как будто начала сгущаться тьма, а воздух стал теплее, и что Карсвелл сделался подавленным и беспокойным: он притянул к себе груды одежды и затем оттолкнул обратно, словно испытывая к ней отвращение, после чего сел прямо и подозрительно оглядел своих попутчиков. Те, испытывая тошнотворный страх, принялись все же собирать свои вещи; когда поезд остановился в Дувр-тауне, обоим показалось, что Карсвелл вот-вот заговорит с ними. Вполне естественно, что на коротком перегоне между городом и причалом они предпочли выйти в коридор.

На конечной остановке – возле причала – они покинули вагон, но, поскольку в поезде было совсем не много пассажиров, Харрингтону и Даннингу пришлось, разделившись, задержаться на платформе до тех пор, пока Карсвелл не проследовал в сопровождении носильщика мимо них, направляясь к пароходу. Только тогда они смогли без опаски пожать друг другу руки и обменяться горячими поздравлениями, при этом Даннинг от радости едва не лишился чувств. Харрингтон прислонил его к стене, а сам, пройдя чуть вперед, оказался неподалеку от трапа, к которому в этот момент как раз приблизился Карсвелл. Контролер проверил его билет, и пассажир, нагруженный своими пальто и пледами, прошел по трапу на борт. Внезапно контролер окликнул его: «Прошу прощения, сэр, а второй джентльмен показал свой билет?» В ответ с палубы донесся раздраженный голос Карсвелла: «Какого черта вы имеете в виду?» Контролер наклонился и посмотрел на него, и Харрингтон расслышал, как он произнес вполголоса: «Черт? Что ж, может, оно и так, я не поручусь», а потом громко добавил: «Я ошибся, сэр. Должно быть, это ваши пледы. Прошу прощения!» Затем он сказал своему подчиненному, стоявшему рядом: «Собака с ним, что ли? Чудно. Я готов поклясться, что он был не один. Ладно, что бы это ни было, с ним разберутся на борту. Пароход уже отбывает. Еще неделя, и повалят отпускники».

Пять минут спустя с причала, озаренного луной и светом множества фонарей на дуврской набережной и овеваемого ночным бризом, были видны лишь тающие вдали огни парохода.

Много часов просидели эти двое в номере гостиницы «Лорд-губернатор». Несмотря на то что главная причина их страха была устранена, обоих одолевали тяжкие сомнения. Они были уверены, что послали человека на верную смерть, – но правильно ли они поступили? И не следовало ли хотя бы предупредить его о грозящей ему опасности?

– Нет, – сказал Харрингтон. – Если он убийца, а я в этом убежден, то мы всего лишь воздали ему по заслугам. Впрочем, если вы считаете, что так будет лучше... Но как и где вы могли бы предупредить его?

– У него билет только до Абвиля, – ответил Даннинг. – Я успел это заметить. Если я отправлю во все тамошние гостиницы, упомянутые в путеводителе Джоанна, телеграммы, в которых будет сказано: «Проверьте свой билетный футляр. Даннинг», то тем самым сниму с души камень. Сегодня двадцать первое, значит, у него будет в запасе целый день. Но боюсь, он уже безвозвратно ушел во тьму.

Текст телеграммы был передан для незамедлительной отправки в администрацию гостиницы «Лорд-губернатор»; однако получил ли адресат одно из этих посланий и, если

получил, верно ли его понял, неизвестно. Известно лишь, что в полдень двадцать третьего июля некий английский путешественник, осматривая фасад церкви Святого Вольфрама в Абвиле, где в то время шли масштабные реставрационные работы, был поражен в голову камнем, который упал со строительных лесов, окружавших северо-западную башню, и погиб на месте; совершенно точно установлено, что на лесах в тот момент не было ни одного рабочего. Согласно найденным при нем документам, этим путешественником был мистер Карсвелл.

Остается добавить только одну подробность. При распродаже имущества Карсвелла Харрингтон приобрел довольно подержанное собрание работ Бьюика. Как он и предполагал, лист с гравюрой, изображающей путника и демона, был безжалостно вырван. И еще: благоразумно выждав некоторое время, Харрингтон решил рассказать Даннингу кое-что из того, что говорил во сне его брат; но Даннинг очень скоро прервал поток его воспоминаний.

1911

Эдвард Фредерик Бенсон (1867–1940) Корстофайн

Однажды я получил письмо от Фреда Беннетта. Он писал, что собирается рассказать мне одну очень любопытную историю, и напрашивался в гости денька на два-три. Время устроило меня как нельзя лучше, и в назначенный день перед обедом мой приятель прибыл. Мы с ним были одни, но, когда я намекнул, что готов – более того, изнываю от нетерпения – выслушать обещанный рассказ, Фред ответил, что предпочитает чуть-чуть повременить.

– Давай-ка сперва проясним наши позиции, – предложил он. – Для начала всегда следует договориться о принципах.

– Привидения? – спросил я, поскольку знал, что все имеющее отношение к оккультизму для него куда более реально, чем обыденная действительность.

– Вот уж не знаю, как ты это истолкуешь, – задумчиво проговорил он, – возможно, объяснишь происшедшее совпадением. Но ты знаешь, я в совпадения не верю. По мне, такой вещи, как слепой случай, просто не существует. То, что мы называем случаем, на самом деле есть проявление неведомого нам закона.

– Ну-ка, поподробней.

– Что ж, возьмем восход солнца. Если бы мы ничего не знали о вращении Земли, то, наблюдая, как солнце восходит каждый день почти в то же время, что накануне, назвали бы это совпадением. Но нам известен, в большей или меньшей степени, закон, управляющий этим феноменом, вот почему в данном случае о совпадении мы не говорим. С этим ты согласен?

– Пока что да. Возражений не имею.

– Хорошо. Мы знаем о вращении Земли и поэтому можем с уверенностью предсказать завтрашний восход. Знание прошлого дает нам возможность заглянуть в будущее, вот почему, услышав, что завтра взойдет солнце, мы не назовем это сообщение пророчеством. Подобным же образом если бы кому-нибудь были заранее точно известны траектории движения «Титаника» и айсберга, с которым он столкнулся, то этот человек смог бы предсказать предстоящее крушение и время, когда оно произойдет. Короче говоря, знание будущего обусловлено знанием прошлого – имей мы абсолютно все сведения о первом, таким же всеобъемлющим было бы знание и второго.

– Это не совсем так, – отозвался я. – В дело может вмешаться какой-нибудь посторонний фактор.

– Но и он определяется прошлым.

– Сам твой рассказ так же сложен для понимания, как и вступление?

Фред рассмеялся.

– Сложнее, причем намного. По крайней мере, при его толковании придется столкнуться с немалыми трудностями, если ты не предпочтешь к простым и бесхитростным фактам отнестись столь же просто и бесхитростно. Я не вижу иного способа объяснить происшедшее, кроме признания единства прошлого, настоящего и будущего.

Фред отодвинул тарелку, облокотился о стол и воззрился на меня в упор. Подобных глаз я ни у кого больше не видел. Взгляд Фреда обладает поразительным свойством: он то проникает сквозь тебя, фокусируясь где-то вдали, за твоей спиной, то вновь возвращается к твоему лицу.

– Разумеется, время, если взять его все в совокупности, является не более чем бесконечно малой точкой на шкале вечности. После того как мы выйдем за пределы времени, то

есть умрем, оно представится нам точкой, обозреваемой со всех сторон. Есть люди, которым даже при жизни случается воспринимать время в его единстве. Мы называем их ясновидящими: им являются ясные и достоверные картины будущего. А может быть, дело обстоит иначе: они пророчествуют благодаря тому, что им открыто прошлое, как в приведенном мной примере с «Титаником». Если бы нашелся человек, способный предсказать гибель «Титаника», и ему поверили бы окружающие, несчастье можно было бы предотвратить. Я привел два возможных объяснения – выбирай любое.

Для меня не было секретом, что мистические озарения, о которых говорил Фред, случались с ним самим, причем не однажды. Поэтому я догадывался, какого рода историю мне предстоит услышать.

– Стало быть, речь идет о видении, – сказал я, вставая. – Говори же, или я лопну от любопытства.

Вечер выдался на редкость душный, поэтому мы удалились не в другую комнату, а в сад, где благодаря ветерку и росе чувствовалась свежесть. Солнце ушло за горизонт, но зарево все еще стояло в небе, над головой пронзительно кричала стая стрижей, в теплом воздухе разливался тонкий аромат роз с клумбы. Слуга оборудовал для нас снаружи уютное пристанище: два плетеных стула и на всякий случай карточный столик. Там мы и обосновались.

– И главное, – попросил я, – излагай все полностью, во всех подробностях, иначе мне придется без конца перебивать тебя вопросами.

С разрешения Фреда я передаю эту историю в точности так, как услышал. Пока длился наш разговор, спустилась ночь, удалились от своих шумных хлопот стрижи, уступив место летучим мышам с их едва слышным, но все же более резким, чем крики стрижей, писком. Редкие вспышки спички, скрип плетеного стула – ничто иное не прерывало рассказ.

– Однажды вечером, недели три назад, – говорил Фред, – я обедал с Артуром Темплом. Присутствовали также его жена и свояченица, но около половины одиннадцатого дамы отправились на бал. Мы с Артуром оба ненавидим танцы, и он предложил мне партию в шахматы. Их я обожаю, играю из рук вон плохо, но во время игры ни о чем другом думать уже не могу. В тот вечер, однако, партия складывалась весьма благоприятно для меня, и, дрожа от возбуждения, я начал сознавать, что, как ни странно, в перспективе – ходов эдак через двадцать – маячит выигрыш. Упоминаю об этом, чтобы показать, насколько я был в те минуты сосредоточен на игре.

Пока я размышлял над ходом, грозившим моему сопернику скорым и неминуемым поражением, передо мной, как чертик из табакерки, внезапно возникло видение. Подобные уже являлись мне прежде раз или два. Я протянул руку, чтобы взять ферзя, но тут и шахматная доска, и все прочее, что меня окружало, бесследно исчезло, и я очутился на платформе железнодорожной станции. Вдоль платформы тянулся поезд, который – я знал это – только что привез меня сюда. Мне было также известно, что через час подойдет другой поезд и на нем мне предстоит отправиться к какому-то неведомому месту назначения. Напротив находилась доска с названием станции; покуда я о нем умолчу, чтобы ты не догадался, о чем пойдет речь дальше. Я несколько не сомневался, что именно здесь и должен находиться, но в то же время, если память мне не изменяет, ни разу не слышал этого названия раньше. Мой багаж был сложен рядом, на платформе. Я поручил его заботам носильщика, как две капли воды похожего на Артура Темпла, и сказал, что собираюсь прогуляться, а к прибытию поезда вернуться.

Дело происходило днем (я знал это, несмотря на сумрак); стояла предгрозовая духота. Я прошел через здание вокзала и оказался на площади. Справа, за несколькими небольшими садиками, местность круто возвышалась и переходила вдали в вересковую пустошь, налево

громоздились бесчисленные строения, из высоких труб которых извергался вонючий дым, вперед же, меж беспорядочно сгрудившихся домов, тянулась длинная улица. Ни в окнах этих бедных и унылых жилищ, построенных из серого выцветшего камня и крытых шифером, ни на всем бесконечном протяжении улицы не виднелось ни единого живого существа. Возможно, предположил я, все местные жители трудятся сейчас в мастерских – тех, что я заметил по левую руку, – но куда попрятались дети? Поселок казался вымершим, и в этом чудилось что-то печальное и тревожное.

На мгновение я задумался над тем, что предпочесть: прогулку по этим безрадостным местам или ожидание на вокзале с книгой. И тут я почему-то ощутил, что мне нужно идти, ибо за этой длинной пустынной улицей меня ждет важное открытие. Я знал одно: идти необходимо, хотя и не ясно зачем и куда. Я пересек площадь и вышел на улицу.

Как только я двинулся вперед, ощущение, давшее мне толчок, полностью развеялось (вероятно, потому, что сделало свое дело); в памяти осталось одно: я жду поезда и прогуливаюсь, чтобы убить время. Конец улицы терялся вдали, на холме; по обе стороны стояли приземистые двухэтажные дома. Несмотря на удушающую жару, двери и окна были наглухо закрыты; всюду царило полное безлюдье. Ничьи шаги, кроме моих, не нарушали тишину. Не порхали по карнизам и канавам воробьи, не крались вдоль домов и не дремали на ступеньках коты; ни единая живая душа не показывалась на глаза и не выдавала своего присутствия какими-либо звуками.

Я шел и шел, пока наконец не понял, что улица кончается. На одной стороне домов не стало и потянулись мрачные пустые пастбища. И тут в моем мозгу, подобно отдаленной молнии, вспыхнула мысль: моему взгляду недоступно ничто живое, так как у меня нет с живущими ничего общего. Вокруг, возможно, кишмя кишат дети, взрослые, коты и воробьи, но я не один из них, я попал сюда иным путем, и то, что привело меня в эту пустынную местность, к жизни не имеет никакого отношения. Я не могу высказать эту мысль яснее, настолько неопределенной и мимолетной она была. На другой стороне улицы дома тоже кончились, и я шел теперь унылой деревенской дорогой. Справа и слева тянулись чахлые живые изгороди. Быстро надвигались и густели сумерки, горячий воздух застыл в неподвижности. Дорога сделала крутой поворот. По одну сторону по-прежнему простиралась открытая местность, по другую же мой взгляд уперся в высокую каменную стену. Я уже начал гадать, что прячется там, за стеной, когда набрел на большие железные ворота и через решетку разглядел кладбище. Ряд за рядом в полумраке тускло поблескивали надгробия; в дальнем конце едва виднелись скаты крыши и низкий шпиль часовни. Смутно ожидая чего-то для себя важного, я вошел в раскрытые ворота и по заросшей сорняками гравиевой дорожке направился к часовне. Взглянув при этом на свои часы, я убедился, что полчаса уже на исходе и вскоре придется возвращаться. Я знал, однако, что пришел сюда не просто так.

Надгробий вокруг больше не было, и от часовни меня отделяло открытое пространство, поросшее травой. Мне попало на глаза одиноко стоявшее надгробие, и, повинувшись особому рода любопытству, заставляющему нас иногда склоняться, чтобы прочесть надписи на могильных камнях, я свернул с тропы.

Надгробие, хотя и свежее (судя по тому, как оно белело в сумраке), уже успело порастить мхом и лишайником, и мне подумалось, что здесь, возможно, покоится странник, умерший на чужбине, где нет ни родных, ни друзей, чтобы присмотреть за могилой. При виде растительности, целиком скрывшей надпись, во мне шевельнулась жалость к несчастному, столь скоро забытому миром. Кончиком трости я принялся расчищать буквы. Мох отваливался кусок за куском, уже показалась надпись, но тьма успела так сгуститься, что букв я не различал. Я зажег спичку и поднес к надгробию. На камне было высечено мое собственное имя.

Я услышал испуганное восклицание и понял, что оно вырвалось из моих уст. Тут же послышался смех Артура Темпла, и я снова очутился у него в гостинной, перед шахматной

доской, на которую взирал с огорчением. Ход, сделанный Артуром, оказался сюрпризом и развеял в прах все мои победные планы.

– А полминуты назад, – проговорил Темпл, – я думал, что дела мои швах.

Через несколько ходов игра пришла к печальному завершению, мы перекинулись еще несколькими словами, и я отправился восвояси. Мое видение уложилось в те полминуты, которые Темпл затратил на свой ход, ведь до того, как перенестись за тридевять земель, я успел пойти ферзем.

Фред примолк, и я решил, что его история достигла финала.

– Странное дело, – заговорил я, – это одно из тех ничего не значащих, но любопытных впечатлений, которые время от времени вторгаются в нашу обыденную жизнь. Бог знает, откуда они исходят, но что они никуда не ведут, можно утверждать с уверенностью. Кстати, как называлась та станция? Ты не выяснял, не напоминает ли твое видение реально существующую местность? Не обнаружил ли ты совпадений?

Должен признаться, я был немного разочарован, хотя рассказывал Фред поистине мастерски. Не исключая, что временами ясновидящим и медиумам бывает дано приоткрыть завесу, за которой в тесном соседстве с нашим собственным прячется иной мир, незримый и неведомый, и он становится доступен существам, пребывающим в физическом плане бытия, – но в чем смысл таких видений? Смысла нет, и то же самое можно было сказать и об услышанной истории. Если даже в конечном счете Фреда Беннетта похоронят на кладбище вблизи привидевшегося ему сумеречного опустелого городка, что пользы знать об этом заранее? Если, воспользовавшись случаем, заглянуть в иной, обычно заповедный мир, мы не узнаём ничего хоть сколько-нибудь ценного и интересного, то к чему нам такая возможность?

Фред бросил на меня свой пронизывающий, устремленный в неведомую даль взгляд и рассмеялся.

– Нет, – ответил он, – вернее, не в совпадениях, как ты их называешь, суть моей истории. Что же до названия станции – потерпи, вскоре оно всплывет.

– О, так это еще не все?

– Ну да, разумеется, ты ведь просил рассказывать со всеми подробностями. То, что ты слышал, это пролог или же первый акт. Так мне продолжать?

– Конечно же. Извини.

– Итак, я вновь находился в комнате Артура, видение не продлилось и минуты, приятель не заметил ничего необычного: я всего-навсего глазел на шахматную доску, а когда он сделал ход, нарушивший мои планы, от досады вскрикнул. Потом, как я уже говорил, мы немножко побеседовали и он упомянул, что им с женой, возможно, предстоит поездка в Йоркшир. Там, по дороге в Уитсантайд, находится усадьба Хелиат, которую оставил жене в наследство ее недавно скончавшийся дядя. Расположена она на возвышенности, среди вересковых пустошей. Осенью там можно охотиться, а сейчас как раз сезон ловли форели. Они, может быть, выберутся туда недельки на две. Артур предложил мне провести неделю с ними в Хелиате, если у меня нет других планов. Я охотно согласился, но поездка, как ты понимаешь, была под вопросом, все зависело от Темплов. Десять дней от них не поступало известий, но затем пришла телеграмма (Артур предпочитает телеграммы, потому что они, по его словам, внушительнее писем) с приглашением прибыть как можно скорее, если я не передумал. Темпл просил сообщить, когда придет мой поезд, тогда они меня встретят; остановка называется Хелиат. Скажу сразу: станция, явившаяся мне в видении, носила другое название.

У меня есть дома расписание; я отыскал там Хелиат, выбрал подходящий поезд и телеграфировал Артуру, что завтра выезжаю. Таким образом, все, что пока требовалось, я сделал.

В Лондоне стояла удушливая жара, и йоркширские вересковые пустоши рисовались мне райским уголком. Кроме того, после давешнего странного видения меня донимали дурные предчувствия. Понятное дело, я уговаривал себя, что всему виной спертая атмосфера города, хотя в глубине души знал истинную причину: происшествие за шахматной доской. Назойливое воспоминание давило свинцовой тяжестью, грозной тучей застило небосвод. Стоило мне отослать телеграмму, как подъем духа, вызванный мыслью о бодрящем горном воздухе, уступил место предчувствию неведомой опасности, и я, недолго думая, послал вслед первой вторую телеграмму с сообщением, что все же не смогу приехать. Но почему мне вздумалось связать свои дурные предчувствия именно с поездкой в Хелиат – об этом я не имел понятия и, как ни старался, никакой разумной причины не измыслил. Тогда я сказал себе, что на меня напал иррациональный страх (такое случается даже с самыми спокойными людьми) и поддаться ему – лучший способ расшатать свою нервную систему. В подобных случаях ни за что не следует себе потакать.

По этой причине я решил пойти наперекор себе – не столько ради приятной загородной поездки, сколько с целью доказать, что напрасно боялся. На следующее утро я явился на вокзал с запасом в четверть часа, нашел себе место в уголке, заранее заказал в вагоне-ресторане ланч и обосновался со всеми удобствами. Перед самым отходом поезда появился кондуктор. Надрезая мой билет, он взглянул на название конечного пункта.

– Пересадка в Корстофайне, сэр, – сказал он. Теперь ты знаешь, что за станция мне привиделась.

Меня охватил панический ужас, но я все же задал кондуктору вопрос:

– И сколько придется там ждать?

Он вынул из кармана расписание:

– Ровно час, сэр. А потом подойдет поезд, который по боковой ветке направляется в Хелиат.

На сей раз я не удержался и прервал его:

– Корстофайн? Это название недавно попадалось мне в газете.

– Мне тоже. Об этом чуть позже. А тогда я попросту впал в панику, потерял над собой контроль. Я выпрыгнул из поезда как ошпаренный. Не без труда мне удалось забрать из багажного вагона свои вещи. А Темплу я отправил телеграмму, где говорилось, что меня задержали. Спустя минуту поезд тронулся, а я остался на платформе. Уши у меня горели от стыда, но в какой-то потаенной клеточке мозга прочно засела уверенность, что я поступил правильно. Каким образом, сам не знаю, но я внял полученному десятью днями раньше предостережению.

Позже я пообедал у себя в клубе, а затем взял в руки газету и наткнулся на сообщение о трагической железнодорожной аварии, имевшей место в тот же день у станции Корстофайн. Скорый поезд из Лондона, на котором я собирался ехать, прибыл в 2.53, а поезд, следовавший по боковой ветке на Хелиат, должен был отправиться в 3.54. В заметке говорилось, что этот поезд отходит от платформы, куда прибывают лондонские поезда, несколько ярдов следует по ветке, ведущей к Лондону, а затем сворачивает вправо. Примерно в то же время мимо Корстофайна проходит без остановки лондонский экспресс. Обычно местный хелиатский поезд его пропускает, однако в тот день экспресс запаздывал, и хелиатский поезд получил сигнал к отправлению. То ли стрелочник не дал лондонскому поезду сигнал остановки, то ли машинист зазевался, но, когда местный поезд находился на лондонской ветке, в него на полной скорости врезался наперстывавший опоздание экспресс. Пострадали локомотив и

головной вагон экспресса; что до местного поезда, то его просто-напросто разнесло в щепки: экспресс пролетел насквозь как пуля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.